



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

КАНЫША

Евней БУКЕТОВ

**Детские годы
КАНЫША**
документальная повесть

**Караганда
2001**

Подготовил к изданию К.А. Букетов.

БУКЕТОВ Е.А.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ КАНЬША – документальная повесть

553513

Академик САТПАЕВ ... Академик БУКЕТОВ ...

Эти люди родились яркой звездой для счастья народа. Первый выдающийся учитель, второй его талантливый ученик – сподвижник.

Видимо оправдать свою признательность взялся за перо ученый, писатель Евней Арстанович БУКЕТОВ и написал документальную повесть «ДЕТСКИЕ ГОДЫ КАНЬША», в дальнейшем превратить в роман-эпопею о первом Президенте АН Казахской ССР, крупнейшем ученом, организаторе науки К.И. САТПАЕВЕ. Но не суждено было ему завершить задуманное, вскоре он ушел из жизни.

В книге изложено много поучительного и рассчитано на широкий круг читателей.

ISDN 9965-438-71-4

© Е. Букетов
Караганда 2001 г.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Т.А. Сатпаевой, Алма-Ата,
Шевченко 18/24, кв. 22.

Глубокоуважаемая шешей Таисия Алексеевна!

Прошло более двух лет с тех пор, как Вы убедили меня, что я (и никто другой!) должен написать биографию академика Каныша Имантаевича Сатпаева. Правда, Вы тогда не говорили буквально: "должны, обязаны", но из всего Вами сказанного сделал такой вывод. Позднее, восстанавливая и анализируя все детали нашей первой беседы, я с большим огорчением сознавал, что такой вывод сделан мною поспешно и даже, может быть, без особых оснований. По-видимому, Ваше предложение просто польстило мне, и я пришел в то эмоциональное состояние слабого человека, когда он способен переоценивать свои силы и возможности. Долго я корил себя, что взялся за столь сложную задачу. Не подумайте, что хочу порисоваться. Это было на самом деле так. Помню, как Вы, пригласив меня и увидев впервые, заговорили, как с давно знакомым человеком, и подробно, убедительно растолковали, как необходим такой труд именно теперь, когда Вы можете еще помочь лично, и что поздний биограф будет лишен этой возможности. Вы не скрывали и того, что мечтаете при жизни увидеть добротню написанную биографию Каныша Имантаевича. Помню также (или мне показалось?), как Вы избегали слов "супруг", "муж", "отец", будто боялись низвести Ваши доводы к аргументам, кои могут быть истолкованы, как побуждения, связанные с личным семейным тщеславием. Скорее всего, так мне показалось, ибо позже при многочисленных беседах с Вами, я смог убедиться, насколько Вы выше всего того, о чем я посмел подумать, как прекрасно и объективно оцениваете Вы значение человека, завоевавшего прочное место в сердце народа.

Признаться, мне совестно оттого, что не выполнил данное Вам обещание: за все это время не написал ни строчки. Не скрою, с тех пор я не переставал заниматься этой темой – со-

брал кое-какие материалы: рукопись Ваших прекрасных воспоминаний о доалматинском периоде деятельности Каныша Имантаевича, записки-воспоминания соратников, родственников, его архивные данные и др. Да и сам я в течение четырех лет работал под его непосредственным руководством, будучи директором одного из научных институтов нашей республиканской Академии. Что казалось бы нужно – садись и пиши. Но не тут-то было. Попробую объяснить.

Прежде всего, как писать? Самое опасное заключается в том, что имея исключительно добрые намерения, можно отойти от истины, мне вспоминаются слова Хемингуэя из его "Африканского дневника": "В последнее время я с отвращением прочитал разные книги, написанные обо мне людьми, которым известно все о моей внутренней жизни, целях и побуждениях. Читать их все равно, что читать отчет о бое, участником которого ты был, в описании человека, который не только при этом не присутствовал, но в ряде случаев которого и на свете не было, когда происходил бой. Все эти люди, которые описывали мою жизнь, как внутреннюю, так и внешнюю, писали с убежденностью, какой я сам никогда не испытывал". Легкое, точное, недостаточное отношение к памяти людей, деяния которых стали достоянием народов, часто, как мы знаем, порождает писание со стороны авторов, почему-то уверовавших в то, что в их собственное примитивное мышление можно полностью уложить мысли и соображения большого человека. Вы говорили мне о том, что такие примеры имеются в нашей казахской литературе и по отношению к академику Сатпаеву. Очень не хотелось бы, чтобы к подобным писаниям прибавились и мои.

Не могу сказать, чтобы я по мере собирания материала, бесед с людьми, близко знавшими его, хоть в какой-то мере приблизился к ясному представлению о внутренней жизни Каныша Имантаевича. Истина "чужая душа потемки" оправдывается особенно по отношению к сложнейшей духовной сути великих людей. Поэтому ставить задачу достаточного ясного и полного воспроизведения душевных коллизий академика Сатпаева на протяжении его жизни было бы рискованно и неумно. И все же мы с интересом читаем и черпаем исключительно много полезного из популярных жизнеописаний великих людей. Следовательно, подобное описание необходимо для массового читателя, ибо, как правильно заметил Иракий Андроников, "биографии великих людей – это как бы ступени лестницы, по которой человечество поднимается, познавая свой

опыт". Особенно необходимо, на мой взгляд, писать об академике Сатпаеве, первом великом человеке из нашего народа, поднявшемся во весь рост, благодаря условиям, созданным для расцвета нашей культуры и науки партией Ленина и Октябрем.

О жизни знаменитых людей, как Вы знаете, сейчас печатается много книг под рубрикой ЖЗЛ и другие издания, разнообразные по уровню, по охвату наиболее характерных черт, достойных подражания для будущих поколений. Естественно, думая над проблемой, которая передо мной возникла, я обратился к этим образцам. Попробую изложить некоторые соображения, возникшие при этом. Оговорюсь только, что жанр популярных биографий ныне столь прочно утвердился в литературе (одна "Молодая гвардия" издала массовым тиражом около 600 биографий великих людей), что в последнее время подвергается довольно серьезному, живому обсуждению в кругах литераторов с целью обобщения закономерностей присущих этому роду творческой продукции. Я не литературовед, и, по-видимому, мои рассуждения совершенно не будут выдерживать критики с точки зрения литературоведческих канонов. Я буду говорить лишь о ходе собственных мыслей, возникших при обдумывании вопроса: как писать о Каныше Имантаевиче?

Весьма популярны так называемые романизированные биографии знаменитых людей, вышедшие из-под пера не менее знаменитого Андре Моруа. Большая часть этих книг (если не все) имеется в переводе на русский язык. Вы их, конечно, читали. Пример, возможно, несколько неудачный, ибо Андре Моруа – выдающийся художник слова, и были бы напрасны мои потуги состязаться с ним в письме. Но я хочу сказать о другом. Думается, что романизированная биография (биография-роман) предполагает некоторую долю вымысла. Словом, необходимы элементы беллетризации. Насколько эта беллетризация остается в пределах той правды, которая характерна для человека, чей действительный облик восстанавливается, зависит от чувства объективности и художественного такта писателя. Нужен ли такой подход по отношению к Канышу Имантаевичу? Думаю, что нет, ибо даже Моруа ради занимательности иногда прибегает к смакованию сомнительных фактов не менее сомнительного нравственного значения. Кроме того, я уверен, что придет писатель, который создаст о Сатпаеве не романизированную биографию, а роман-эпопею, подобно "Абаю" Мухтара Ауэзова.

Может быть, написать чисто научную биографию, год от года прослеживая, как у Каныша Имантаевича зарождались те или иные идеи, и как они находили теоретическое, научное и практическое воплощение. Это было бы очень интересно. Однако я не специалист в той отрасли знаний, в которую дальше и глубже других заглядывал академик Сатпаев, поэтому не могу претендовать на достаточно верное и в то же время достаточно доступное для широкого круга читателей изложение его идей и замыслов. Для этого необходимо быть специалистом высокого класса в данной области знаний. Пример этому – академик А.Е. Форсман, популярные изложения которого отличаются и занимательностью и научной точностью. Я полагаю, что специалисты, которые могут изучать узконаучную деятельность академика К.И. Сатпаева, найдут много поучительного в его методах исследования проникновения в глубинные кладовые научных истин. Думается, что они изложат в свое время с подобающей и скупулезностью и последовательностью научную биографию выдающегося ученого. Мы же хорошо знаем, что чисто научная деятельность была лишь частью (правда, главной частью, той, от которой он отталкивался во всем другом) нашего первого академика, ведь Каныш Имантаевич всей своей жизнью доказал, какова может быть и должна быть роль ученого – организатора в век, когда наука становится производительной силой общества, в той стране, которая впервые в мире, взяв на вооружение достижения науки, строит самое справедливое в истории человечества общество. И, по-видимому, нет необходимости углубляться в те области науки, где я мало компетентен, хотя понимаю, что написание биографии ученого, постоянно и неумолимо сочетавшего глубокую целеустремленную личную научную работу с громадной научно-организационной и общественной деятельности не исключает, а предполагает описание его идей и их жизненного воплощения. Я предвижу трудности, связанные с последним обстоятельством, однако, все же полагаю, что можно воссоздать облик ученого, не вдаваясь в малопостижимые для неспециалиста стороны развития научных замыслов. Вы дали мне прочитать книгу о Марии Кюри, написанную ее дочерью Евой. Слов нет, написана биография хорошо и читается с интересом. Однако здесь многое связано с колоритом личных взаимоотношений – матери и дочери. И в этом неповторимом колорите заключены лиризм и привлекательность повествования. Естественно, это для меня невозможно, ибо я

имел с Канышем Имантаевичем чисто деловые взаимоотношения, да и то в последние годы его жизни. Кроме того, очень рискованно проводить какую-то параллель и делать сравнения на основе данных их жизни и деятельности этих двух ученых. Но все же. Кюри – великая труженица, с пальцев которой до конца жизни не сходили пятна от ежедневного бдения, за лабораторным столом, автор великих открытий, создавшей себе славу подвижническим отношением к любимому делу вопреки противодействующей обстановке. Но у этого ученого с мировым именем вся деятельность могла проходить и проходила буквально на глазах рядом находящегося человека. Попробуйте представить себе таким академика Сатпаева! Вы же сами мне рассказали, как Вам легко было вести повествование (я имею в виду Ваши записи-воспоминания) до перевода Каныша Имантаевича на работу в Алма-Ату. Это, понятно, в Жезказгане, Вы оба страстно преданные любимому делу геологии, работали постоянно рядом, непрерывно делясь трудовыми и жизненными впечатлениями. Но после переезда в Алма-Ату резко расширился диапазон научной и научно-организационной деятельности ученого, стало трудно следить даже близким, даже Вам, за всеми деталями его работы, так как постепенно изменялась обстановка, позволяющая Вам ежедневно охватывать всю деятельность Каныша Имантаевича. И здесь Ваши записки, основанные на личных впечатлениях, естественно, не могли сохранить тот колорит, полноту, которая характерна для доалма-тинского периода. Отсюда следует, что для описания биографии ученого-организатора и общественного деятеля, который мог, благодаря нашему строю, авторитетно ставить вопросы о решении научных и научно-хозяйственных проблем на самых высоких уровнях в стране и претворять свои идеи в жизнь в колоссальных масштабах по-видимому, совершенно не подходит повествование с позиции человека, лично связанного с ним. Конечно же, для таких личностей, каким был академик Сатпаев, появление любых произведений, воспроизводящих отдельные стороны его многогранного облика, никогда не будет лишним. Вы понимаете, что в данном случае я веду свои суждения с тем, чтобы самому выйти на ту позицию, с которой мне представится случай попытаться охватить целиком образ Каныша Имантаевича. Мне кажется, что для такой возможности необходимо преодолеть узость угла зрения, связанного с личными взаимоотношениями, личными симпатиями и антипатиями. Согласитесь, что пример с

книгой Марии Складовской-Кюри, как метод изложения биографии академика Сатпаева, не совсем подходит

В последнее время большой популярностью пользуется книга Д.С. Данина о Резерфорде. Недавно в "Науке и жизни" я с удовольствием прочитал подобное же произведение этого автора о Боре, хотя до этого также с большим увлечением прочитал книгу Руж Мур "Нильс Бор – ученый и человек". Чем привлекает меня названные произведения Д.С. Данина? Насыщенностью фактами, последовательностью, убедительностью суждений автора. Психологические коллизии, связанные с теми или иными поступками, ситуациями, решениями в жизни великих ученых не предпосылаются к жизненным фактам (как это часто мы встречаем в подобных произведениях), а вытекает из самих фактов, при сопоставлении и логическом осмыслении их. В книгах Д.С. Данина, безусловно, есть элементы усложнения, они по-видимому, связаны с тем, что автор физик и имеет возможность более глубоко, чем обычный биограф, заглянуть в логику мышления, в так называемую лабораторию своих героев. Автор держится на той острой грани, когда правдивое изложение диалектики мышления людей, далеко опередивших свое время, отделяет от широкого читателя, от популярности рассказа. Я по опыту своей работы, по сложившемуся складу мышления, пожалуй, близок к самому методу повествования, ведь я химик, а химия, как Вы знаете, наука экспериментальная. Сопоставление, анализ экспериментальных фактов, суждения по ним, гипотезы, снова эксперименты для подтверждения этих гипотез, и т.д. Факты при их добросовестном отборе и изучении никогда не подведут. Поэтому, в основном, и буду придерживаться этого метода, тем более, что опасность усложнения за счет потребностей и проникновений научного характера не предполагается, поскольку автор не специалист в области геологии. Правда, здесь возникает еще одна трудность. Как-то польский поэт Юлиан Тувим острял: "Телефон – дьявольское изобретение, которое окончательно погубило слабую надежду избавиться от навязчивых". Телефон губит и более серьезные надежды – исчезает эпистолярное наследие в том плане, в котором мы привыкли его понимать. В частности, переписка Каныша Имантаевича в основном и большей частью – это подтверждение того, что предстоит сделать или уже сделано, она мало касается перипатий возникновения идей, творческих коллизий, связанных с ним и т.д., т.е. всего того, что черпается из переписки ученых, писате-

лей, например, до тридцатых годов нашего столетия. Все уже обговорено по телефону.

Я уже говорил о том, насколько опасна погоня за занимательностью и излишняя беллетризация. Однако, элементы художественного осмысления отдельных фактов из жизни большого человека, наверное, необходимы, ибо все же надо стараться представить читателю зримый облик человека, а это можно сделать, описав его деяния динамично и объемно. Надо стараться, чтобы жизнеописание было по возможности нескучным, особенно, когда речь идет о таком жизнерадостном и оптимистичном человеке, каким был Каныш Имантаевич. Один из специалистов в этой области недавно назвал биографии, публикуемые под рубрикой, "ЖЗЛ", художественным жанром, чем изрядно расстроил меня. Я совершенно не уверен в том, что мне удастся эта сторона при выполнении поставленной задачи. Но, мне кажется, право автора на элементы художественной интерпретации в некоторой степени облегчает дело, так как получает определенную свободу действия для предположений и гипотез, для отображения в тех или иных случаях действий и поступков, которые, возможно, на самом деле не имели места, но могли быть с точки зрения исторической верности и жизненной правды. Здесь вспоминаются замечательные слова Д.А. Фурманова, высказанные по подобному же поводу: "обрисованы исторические фигуры... Совершенно неважно, что упущены здесь мысли и слова, действительно им высказанные, и, с другой стороны, приведены слова и мысли, никогда ими не высказывавшиеся в той форме, как это сделано здесь. Главное – чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена, а детали значения совершенно не имеют. Одни слова были сказаны, другие – могли быть сказаны, не все ли равно? Только не должно быть ничего искажающего верность и подлинность событий и лиц". Словом, трудностей предвидится довольно много. Наш первый академик, слава нашему народу, в устах дореволюционного акына, поэта-импровизатора, выглядел бы былинным богатырем, ибо он истине достоин монументальных и эпических произведений. Ныне на это, вероятно, необходимо время. Произведения непреходящего значения не создаются вдруг. А наша молодежь, наш читатель хочет знать об академике подробно и больше сегодня, сейчас. В связи с этим постараемся выполнить эту задачу в чрезвычайно скромных пределах, стараясь хотя бы отдаленно приблизиться к его сложной и трудноис-

черпаемой духовной сути, опираясь на документы и факты. Будем стараться отбирать то, что будет казаться, на наш взгляд, самым характерным, самым ключевым и строить на них наши суждения. Словом, последуем примеру поэта:

Ни былиш,
ни эпосов,
ни эпоей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Восп енной губой
припади
и попей
Из реки
по имени-"факт".

Наша "строфа" вряд ли "полетит телеграммой", но, пытаясь воссоздать хотя бы в первом приближении облик академика Сатпаева, мы будем вдохновляться замечательными фактами из жизни этого большого человека.

В ОРБИТЕ КОЧЕВОК

"В год кабана, или в год 1899-й по новому исчислению, в месяц наурыз, или март в 31 звезду, в день понедельник бог даровал рабу своему Имантаю сына. Нарекли его Габдулгани. Нет предела милостям всевышнего. Слава аллаху. Аминь". Имантай-аксакал сделал эту запись на внутренней стороне обложки корана не случайно: никто нигде не записывал в степях рождение детей, а священная книга в семье являлась "настойной" (мы берем это слово в кавычки, ибо в кочевом быту столов в принятом смысле слова не было), ее очень берегли, и сохранность самой книги обещала сохранность и записи. Так оказалось на самом деле: благодаря предусмотрительности Имантая мы теперь знаем точную дату рождения будущего ученого.

Вот что писалось в одной из многочисленных книг, посвященных нашему краю и изданной в те годы, когда родился Каныш Имантаевич. "Всю жизнь типичного степняка-киргиза тесно связана со скотоводством... Годичный цикл его образа жизни подчинен потребностям скота. Весной, сразу после снега, кочевник трогается со стадами туда, где лучше сохранилась прошлогодняя трава, где и живет, пока скот не выест травы. Отсюда он передвигается на те места, где появится зеленая трава и живет там до того времени, пока есть скоту что есть. С этого места по мере роста трав (с июня до конца июля) киргиз движется на летние пастбища – "джайлау". С начала осени он снова начинает направляться к зимовкам, стараясь впрочем прикочевывать к ним позже, чтобы более сохранить травы на зиму. Зимовочные пастбища кочевники вообще ревниво охраняют от протравы, так как они должны прожить самое тяжелое время – зиму. Так из года в год описывают киргизы со своими стадами "орбиты своих кочевков" по степи, имея конечными пунктами зимовку (кыстау), и в этих перекочевках проходит вся их жизнь.

В эту орбиту кочевков, в этот цикл образа жизни своих родителей с того дня, который старательно арабской вязью был выведен на внутренней стороне священной книги мусульман, вписался теперь и младенец, нареченный Габдулгани. То, что впоследствии это имя превратилось в Каныш, имеет характерную для нашего народа историю. В той же книге, которую мы цитировали выше, пишется: «На пятый день ребенку дается имя, чаще бабкой, реже имя устанавливает аксакал; тогда оно дается в память известного предка рода; или же имя утверждается муллой, тогда новорожденные нарекаются именем людей, так или иначе связанных с Магометом». Здесь многое неверно. Казахи никогда не относились легко к присвоению имени своим детям. Наоборот, к этому готовились заранее в радостном ожидании приумножения семьи и рода. Обряд придания имени младенцу в зависимости от состоятельности родителей по возможности обставлялся торжественно: пиршество сопровождалось подарками назвавшему новорожденного; читалась специальная молитва - азан. Дело это, как правило, поручалось мулле. В этом случае имена оказывались на самом деле извлечениями из арабской лексики. Имя ребенку могли давать старшие в доме или ауле. Тогда чаще выражалось то пожелание младенцу, которое чаяли в сердце родные и близкие - так появлялись имена так или иначе связанные с богатством, авторитетом, положением в обществе. Это были часто те же арабские имена, только с прибавлением, например, «бай», «торе», «мулла», «мырза» и др. Имя ребенка у пожилого или престарелого отца отмечало возраст родителя - Елюбай, Алпысбай (алпыс-шестьдесят)..., Токсан-бай (токсан - девяносто). Детей не принято было называть именами предков по мужской линии: священные, почетные имена не должны были произноситься всуе, без надлежащего почтения легкомысленными устами детей, женщин и др. Никогда казах не называл своих детей «узdeckкой, нагайкой, посудой» и др., хотя такие имена имели место как клички бедняков и их детей. Это были клички подобно тем, о которых писал Белинский применительно к русскому быту лет за пятьдесят до рождения Каныша Имантаевича в знаменитом письме к Гоголю.

В семьях, достаточно просвещенных в мусульманских религиозных понятиях, имена давались строго арабские. Обязательность, при которых был наречен Каныш Имантаевич, в памяти близких не сохранились. Однако, можно полагать, что имя Габдулгани, слагающееся из слов чисто арабского происхождения, было дано сыну Имантая-аксакала если не по пря-

мому указанию последнего, то, во всяком случае, не без влияния его, ибо он был довольно начитанным мусульманином. Однако и здесь, кажется, имело значение не только звучание имени, но и заветное желание отца: «Габдул» в переводе с арабского означает «раб божий», а «гани» - «богатый», «состоятельный». Думается, что отец очень хотел, чтобы новоявленный раб божий был богатым, состоятельным человеком.

Степные жители очень любили детей. Особенно сыновей, как продолжателей рода, семьи (сохранении имени). Старшие семьи, рода ласкали, нянчили, носили на руках каждого ребенка, давая многочисленные ласковые прозвища. Вначале эти прозвища исходили из корня настоящего имени, или, как говорят казахи, имени, закрепленного азаном. С течением времени одному из прозвищ отдавалось предпочтение, к нему привыкали, совершенно не заботясь о том, что оно совсем отдаленно напоминает настоящее имя. Таким образом, Габдулгани, сына Имантая, стали называть Каныш, и мало кто ныне догадается, что имя это получилось от переименования второй части первородного имени - Гани. Также мало кто догадался бы, что настоящее имя великого поэта Абая - Ибрагим, а знаменитого ученого Чокана Валиханова - Мухаммед-Канапия, если бы не свидетельствовали об этом биографические источники. С годами исходное имя редко кто вспоминал. Считалось, что раб божий имярек числится в небесах по имени, закрепленному азаном, и при чтении надгробной молитвы мулла справлялся о первородном имени покойного, но не всегда. Полагали, что потом в небесах как-то разберутся.

Каким был в детстве будущий академик? Чем отличался он от своих сверстников? Как он рос и развивался? На этот счет (хронологические) сведений не сохранилось. Кое-какие эпизоды из своего детства (академик) рассказывал членам своей семьи. Сверстники Каныша Имантаевича, выросшие вместе с ним, вспоминают, что он был (хорошим), не заносчивым, общительным мальчиком. В детали не вдаются. Общее состояние дел по сбору достоверных сведений о детстве Каныша Имантаевича своеобразно резюмировал двоюродный брат академика, проживший до конца жизни в родном ауле Акимтай. Один из журналистов обратился к нему с просьбой рассказать о детстве ученого. Престарелый Акимтай, человек острый на язык, ответил: «Да, я хорошо знаю брата Каныша. Мы внуки деда Сатбая, наши отцы Жамин и Имантай - родные братья. Я горжусь своим братом, может быть, более, чем кто-либо. Но, убей меня аллах, если бы я в то время знал, что Ка-

ныш станет Канышем, а не останется таким, как я, я бы запомнил каждый его шаг, каждое его слово. Беда в том, что никто этого тогда не знал. Помню, что он был хороший, рассудительный и послушный мальчик. Больше я ничего не помню. Спрашивайте вот у Жумаша. Он ровесник его, гонял вместе ягнят и жеребят, стыл на ветру, катался с горки, став постарше и к девочкам вместе приглядывались...

Пусть он и выдумывает всякие небылицы. Сколько уж прошло... Сам себя не помнишь... Не приставайте. Садитесь, угощайтесь кумысом, а мне пора намаз совершать».

На самом деле, ребенок как ребенок, таких немало в маленьком ауле. И на особенности его поведения вряд ли много обращалось внимания. Болезни, первые слова, произнесенные ребенком, шалости, может быть, и остались бы в памяти отца и матери, но они умерли еще тогда, когда, как правильно говорит Акимтай, «Каныш еще не был Канышем», и такого интереса к его детству, как ныне, никто не имел. Поэтому нам остается описывать ту обстановку и ту среду, в которых протекало детство ученого, и делать предположение о том, что могла дать Канышу Имантаевичу эта беззаботная пора его жизни.

Родился Каныш Имантаевич в ауле Сатпая из рода Жадигер племени Каржас, ибо в то время в казахских степях личность и место рождения определяли по родовому признаку. Позднее с установлением Советской власти этот аул получил наименование №4 и относился к Аккелинской волости Павлодарского уезда. Ныне это совхоз имени Сатпаева Баян-аульского района Павлодарской области. Зима здесь бывает суровой, и ранней весной, когда родился Каныш Имантаевич, аул еще находился в кыстау-зимовке. Этим мы обязаны тому, что ныне совершенно точно знаем место рождения академика Сатпаева. Родись он во время кочевков, трудно бы точно сказать, где именно он родился, ибо места остановок, привалов менялись из года в год. Зимовали Имантай-аксакал и его близкие на берегу реки Аши-су у сопок, называемых Айрык, приблизительно в 70 км к юго-западу от известного поселения Баян-аул (в Баян-аульских горах).

Маленький Каныш, наверное, не раз слышал от старших о том, что недавние предки его не знали, что такое зимовка - кыстау, круглый год жили в юртах. Рассказывая об этом, они совершенно серьезно уверяли, что зимой в юртах, когда ее завалят до самого тундук (ночника, закрывающего купол юрты), оставив в нем лишь отверстие для дыма, и заведут постоянно горящий очаг, пол застелят толстой кошмой, ею же

занавесят стены, сказочно уютно и тепло. Намного приятнее жить, чем в душных избах; люди будто бы были сильными и выносливыми, не в пример нынешним, которые, познакомившись с русскими и, переняв у них привычку в холодное время года жить за толстыми стенами, изнежились и потеряли былую силу, смелость и бодрость. К самим зимовкам степные жители по-прежнему относились как к необходимости, с которой вынуждены мириться. Зима считалась не настоящей жизнью, а испытанием, которое надо пережить, а сама жизнь со всеми ее радостями приходила летом. Естественно, что о внешнем виде, об особых удобствах для жизни людей при сооружении зимовок заботились мало.

«В кыстау бросается в глаза, прежде всего тесная связь людского помещения со скотным двором и отсутствие планомерного расположения строений. Стены жилого помещения строятся из пластов дерна до аршина и более толщиной; сверху таких стен укладывается ряд деревянных брусьев, на которых укрепляется несколько перекладин, служащих для настилки потолка. Последний делается из хвороста, камыша и травы; поверх накладываются дерновые пласты. Крыши кыстау не имеют. В стене, обращенной на двор, делается невысокая дверь; в противоположной стене устраиваются окна - верхнее отверстие затянутое пузырем. Помещение делится на две половины: переднюю, более грязную, в которой помещается печь, здесь же находятся молодые бараны и телята, конская сбруя и ворохи других хозяйственных принадлежностей. Дальняя половина почти вся занята нарами, на которых киргизы едят и спят. По стенам набиты колья, на которых развешиваются платье, лучшая сбруя, кошмы и пр. Ночью землянка освещается сальником. Из всего сказанного можно судить, в какой тесноте, грязи и духоте приходится проводить киргизам зиму. Зимовка более богатых киргизов безлесных мест, в общем, мало отличаются от описанной, только чище».

Зимнее жилище Имантая-аксакала в основном соответствовало данному в этом описании, поэтому мы и привели эту пространную цитату. Но было и отличие. Дело в том, что отец будущего ученого для своего времени и окружения был довольно просвещенным человеком. Он был близко знаком со многими русскими поселенцами из близлежащих деревень, бывал в Павлодаре и Омске, знакомился со ссыльными разночинцами и имел большую тягу к улучшению своего быта. Зимовку свою Имантай-аксакал построил не из обыкновенного дерна, а из саманного кирпичика. Из этого редкого в то время

для степей материала он сложил стены не только дома, но и всего скотного двора. Двери из четырех небольших комнат выходили, как и в обычных зимовках, прямо в скотный двор. Жилой дом был невысок, не имел крыши и по наружному устройству не отличался, как и скотный двор, от подобных степных сооружений. Избяная часть зимовки, однако, имела еще одно новшество: не только пол, но и потолок изнутри были сложены из струганных досок.. Эти новшества окружающим степнякам казались nepозволительной роскошью для сравнительно маломощного хозяйства Имантая: досужие языки обвиняли его в том, что он не по мощне своей спесив и, хоть в разоренье, но тянется за соседями своими - известными на всю степь богачами Шормановыми. Между тем, этот предмет пересудов и зависти снаружи мало отличался от обычных зимовок, от кучи, как выше сказано, «тесно сплоченных и заваленных наземом землянок».

В одной из комнат этой довольно цивилизованной по тому времени зимовки родился Габдулгани, будущий Каныш, При рождении по обычаю своих предков он обрел и вторую мать - тетушка Кульжан обрезала младенцу пупок и стала киндык-ана. В степях считалось, что киндык-ана имеет особое влияние на младенца вплоть до того, например, что человек, взрослая, становится похожим на нее отдельными чертами характера. Поэтому в казахском быту того времени, когда речь заходила о недостатках или достоинствах того или иного человека, можно было слышать совершенно серьезный подкрепляющий аргумент:

«Ведь у него киндык-ана такая-то». К киндык-ана со стороны киндык-сына (или киндык-дочери) всегда сохранялось чувство сыновнего уважения. Маленькому Канышу тетушка Кульжан была особенно близка: мать родила его, будучи уже серьезно больной туберкулезом, и потому киндык-ана, сама недавняя роженица, стала кормилицей своего киндык-сына. Рассказывают, как, приезжая в родной аул, маститый, грузный академик заходил к своей киндык-ана Кульжан и садился, скрестив по-старинному ноги, на кошму рядом с маленькой, сухонькой, сморщенной старушкой и точь-в-точь как в детстве начинал какую-нибудь ребяческую шутку, например по-мальчишески ласково выпрашивал у нее сладости, «припрятанные» киндык-мамой для своего любимого киндык-сына.

Габдулгани родился, когда его отцу было 56 лет. Долгожданный первый сын у Имантая появился только четыре года тому назад. Каждый родитель в степях мечтал о куче детей, о

553513

большой семье. Это подсказывалось не простым инстинктом продолжения рода. Родовой быт требовал, чтобы семья была сильной, а род - могучим. Для этого нужны мужчины, много мужчин. Поэтому каждый отец мечтал, чтобы у него было побольше сыновей, чтобы род его увеличивался, чтобы он не остался «кубас» - бездетным, чтобы к старости была защита и опора. Имантай-аксакал, как мы уже говорили, был довольно просвещенным человеком и к тому же обладал недюжинным природным умом. Он чувствовал веяние таких перемен, когда в степях постепенно терялось значение крепкого кулака и длинного соила, когда бумаги в канцелярии уездных начальников начинали играть судьбой людей в большей степени, чем количество и сила жигитов той или иной семьи, того или иного рода. Поэтому, казалось бы, Имантай-аксакал мог быть довольным: жена его, Нурым, родила дочь и поскольку более детей не было он усыновил племянника своего Абсаляма, женил его и выделил в отдельную семью - отау. Не достаточно ли двух детей - дочери и сына? Оказалось, нет. Аксакала втайне грызла мечта о сыновьях собственной крови, ибо не закроешь рот невеждам. Каждый может сказать: «Тебя сам аллах обделил, ты же на самом деле - кубас» Слишком крепко сидела в аксакале родовая закваска. И он в пятьдесят лет взял вторую жену. И вот: аллах не без милостей - второй сын! Это была большая радость, хотя, может быть, и несколько запоздалая. Но народная мудрость во всем находит утешение: «радость и добро не бывают поздними». Радость эту сообщили сразу же всем родичам, расселившимся в радиусе 2-3 км, и знаменитый казахский узункулак с телеграфной поспешностью понес эту новость по всем аулам смежных родов Каржас и Айдабул. Многим такая новость была кстати: было время, называемое в степях узын сары, когда дни стали длинными, нудными и скучными, особенно в семьях бедняков, ибо зимние припасы кончались, а скот еще не был готов к надою. Приезжали аксакалы поздравить своего сверстника, уважаемого Имантая: какое счастье привалило, второй сын, и, главное, родился в понедельник, в день рождения пророка Магомета. Приезжали молодые на шилдекана - вечерние игры, посвященные новорожденному. В течение нескольких дней в четырех комнатах зимовки, избах близких и родных стояли сутолока и гвалт. Звенела домбра, местные певцы-акыны и остроловы состязались в импровизациях. Десятки оседланных коней торчали день и ночь на привязи на бельдеу. Имантаю-аксакалу и его ближним пришлось немало проявить расторопности, чтобы найти в

окрестных аулах баранов и лошадей, сохранивших упитанность, в обмен на своих, отошавших, ибо казаны в эти дни дымили круглые сутки, и свои возможности были исчерпаны. В такой обстановке началась жизнь будущего большого советского ученого.

Читатель, наверное, помнит по описанию Мухтара Ауэзова, как в детском сердце маленького Абая холодным трепетом отзывалось соперничество между несколькими матерями в полигамной семье его отца Кунанбая, как это соперничество переходило на детей, подтачивая и разъедая чистоту эмоций в их наивных душах. К счастью, маленький Каныш в семье Имантая-аксакала не испытал этого. Мать его, Алима, умерла, как мы выше упомянули, когда младшему ее сыну Канышу было всего два года. Дети остались на руках стареющей Нурым, которая всю свою нерастрченную любовь сосредоточила на них. Однако родные и близкие, хорошо знавшие Алиму, полагают, что живи она дольше, дети ее были бы еще более счастливы, ибо она внесла бы много светлого и радостного в их жизнь, разнообразя спокойную, тихую ласку и молчаливую заботу аже (бабушки), так ее прозвали дети Алимы. Дело в том, что в этой семье между двумя матерями-соперницами сразу же установились почти невиданные для подобных степных семей отношения взаимного согласия и взаимной приязни. Мамаша Нурым, эта рослая, смуглолицая, спокойная, выдержанная, вечно занятая по хозяйству женщина, по свидетельству знавших ее, была настолько проникнута заботами и чаяниями рода Сатпая, надеждами и думами своего мужа Имантая, что все больше испытывала нечто вроде угрызений совести за то, что оказалась бесплодной - единственная дочь, выданная замуж, в счет не шла: дочери рождаются от чужих - вещала народная поговорка. И, говорят, когда Алима, обрученная с одним из молодых Шормановых, оказалась вдруг свободной, ввиду смерти жениха, Нурым сама подсказала мужу взять ее в жены: родители невесты не были знатными, и Шормановы не очень желали продолжать с ними родственные взаимоотношения. Когда Имантай-аксакал посоветовался по этому поводу со своим другом Садуакасом, одним из наиболее влиятельных людей в роду Шормановых, тот поддержал его. И вот девушка, овдовевшая еще в невестах, была привезена в дом Имантая. Степные свадебные ритуалы были выполнены в самых скромных пределах, ибо невеста, у которой умер жених, и аксакал, бравший несчастливую девушку в токалы - второй женой - были не такой парой, чтобы устраивать шум-

ные празднества.

О чем думала мамаша Нурым, когда ее муж привел домой вторую жену - девушку, еще не достигшую двадцати лет? Наверное, ей было грустно. Пусть читатель снова вспомнит, как в романе об Абае Мухтар Ауэзов описал переживание умной и дальновидной матери поэта Улжан, когда ее стареющий, шестидесятилетний муж взял себе четвертой женой семнадцатилетнюю Нурганым. «Улжан - пишет Мухтар Ауэзов, - была далека от ревности, ибо она привыкла владеть собой. Она как будто уже не считала Кунанбая мужем - он был отцом ее сыновей, родным человеком, связанным с ней долгой жизнью, многими годами общих переживаний. Все другие чувства к нему умерли в ней». Мамаше Нурым уже было пятьдесят лет, столько же и Имантаю. Можно полагать, что будучи умной и сдержанной, она покорилась своей участи, тем более, что сама явилась инициатором женитьбы своего мужа. И все же рассказывают, что в тот самый момент, когда молодую Алимю, вводили в дом женой Имантая, мамаша Нурым исчезла. Женщины кинулись искать: бедная байбише сидела в отдаленном углу двора и тихо плакала. Это было, говорят, последнее и единственное изъяснение печали, которое пришлось увидеть друзьям и близким у мамыши Нурым по поводу второй женитьбы мужа.

С приходом молодой Алимы, в семье Имантая произошло нечто удивительное и непривычное для жен-соперниц. Стареющий степняк с достатком, как правило, брал в токалы девушку из бедной и неродовитой семьи. И молодая девушка в руках властной байбише - первой жены оказывалась в роли служанки: та понукала ею, вымещая свою ревность и злобу. Редко когда молодая токал, заимев влияние на старого мужа, брала верх; это было чаще всего в тех случаях, когда байбише была бездетной и не имела опоры, а молодая соперница оказывалась своенравной и хитрой. В семье Имантая не случилось ни того, ни другого. Алима была стройна и красива; на ее белом, чернобровом лице постоянно блуждала располагающая улыбка, она была смешлива, юмор ее был неиссякаем. Она как будто совершенно не придавала значения тому, что ее муж, серьезное и строгое лицо которого редко смягчалось, был на тридцать с лишним лет старше ее и что она пришла в эту семью, в этот род в качестве токал. Своим беззаботным и звонким смехом, простым, бескорыстным отношением ко всему, что ее окружало, именем найти во всем смешное и вызвать неожиданное веселье, она быстро расположила к себе родных

и близких. Мамаша Нурым таяла перед ней, испытывая нечто вроде материнских чувств - дело совершенно невиданное в полигамных семьях. Прожила она в доме Имантая всего шесть лет - родила троих детей - дочь Газизу, сыновей Бокеша и Каныша. Память о ней сохранилась в семье и ауле Имантая краткой, светлой и улыбочиво-веселой полосой. Старики и ныне вспоминают ее остроумные шутки и импровизации. В степях острое слово, шутка ценились высоко. Отсутствие умения шутить, как мы теперь говорим, чувства юмора, приравнивалось к отсутствию умения думать, соображать и считалось большим недостатком. В казахских аулах ровесники обязательно вышучивали и разыгрывали друг друга, женщины прохаживались в адрес младших братьев мужа, и наоборот, родственники по женской линии вступали в состязание по части выдумывания шуток и шуточных ситуаций. По рассказам, мать маленького Каныша, Ак-Алима (Белая Алима), как ее прозвали в ауле, обладала удивительной способностью находить смешное и склонностью к колким и веселым импровизациям. В ауле жил один из младших родичей Имантая - молодой жигит Сыздык. Он любил загадывать шуточные загадки. Как-то за кумысом (к Алиме аульчане любили заходить попить кумыс, а особенно к вечеру после трудового дня) Ак-Алима предложила Сыздыку загадку и сказала, что неразгаданная в срок загадка продается:

*За той ли речкой за рекой
Горка дышит в две дыры.
Хоть гол хребет у горки той,
Зато густ тал вокруг горы.*

В отведенное время Сыздык не смог разгадать загадку и пошел советоваться к младшему брату Имантая Жамину. Жамин захохотал:

«Ты посмотри на себя в зеркало». Действительно, у Сыздыка за густой бородой виднелись две щели - ноздри, а голова была голым хребтом. Сыздыку пришлось ехать в Баян-аул за платьем для Алимы, чтобы выкупить загадку.

Тот же Сыздык был любителем посквернословить, что очень не нравилось Алиме, хотя в степном быту не очень в этом отношении стеснялись. Она решила пристылить Сыздыка и пустила четверостишие:

На моего кайным ты глянь!
Красивый рот алахом дан.*

*Жена старшего брата (родственники по мужской линии) называла так младших братьев (родственников) мужа.

*Но жаль: приятные уста
Извергают часто дрянь.*

Услышав это четверостишие, Сыздык ходил к Алиме просить прощения и перестал сквернословить.

В степях врачебная помощь в те времена отсутствовала, специальные меры профилактики не проводились и дети, как правило, перебалывали всеми положенными болезнями: оспой, корью, дизентерией и др. Большая часть детей умирала в раннем возрасте, и родители находили лишь слабое утешение в той вере, что это связано с желанием самого аллаха иметь около себя больше невинных, незапятнанных чистых душ. Ак-Алима, недаром ее так прозвали в ауле, была удивительно чисто-лотной женщиной и весь день была занята шитьем, штопанием и стиркой пеленок и одежек своих детей. Окружающие поражались домовитости, детолюбию молодой женщины, и многие готовы были подтрунить по этому поводу, да боялись острого языка Ак-Алимы. Байбише Нурым во всем потакала и поощряла свою любимую соперницу. И потом, когда Ак-Алима умерла, у байбише Нурым длительное время появлялись на глазах слезы, когда она вдруг обнаруживала, что старается делать все по отношению к детям так, как делала покойная. И, слава аллаху, дети, переболев всеми страшными болезнями, остались живы - здоровы и росли хорошо. Считали, что хорошая, добрая, благородная Ак-Алима умерла такой молодой с тем, чтобы взять всю тяжесть несчастий, отведенных небесами семье Имантая, на себя, и ее желания сбываются.

Имантай-аксакал внимательно приглядывался к младшему, ибо в каждой семье младший - главная опора стариков. Старшие женятся, отделяются в отау и, окунувшись в свои семейные и другие заботы, постепенно черствеют к старикам, и только младший остается с ними, являясь хозяином кара шанрак и оттого, каким будет этот младший, этот кенже, зависят покой и счастье старости. Любил Имантай своего старшего Бокеша, смуглого, очень похожего на отца, но этот немного медлительный в движениях, большеголовый, лобастый мальчик вызывал у аксакала особый прилив нежности: белизною лица, ясным взглядом глаз, в прищуре которых таилась материнская лукавка, он напоминал покойную Алиму, а не по годам крупное тело, тяжелое подбровье выдавали свое, сатпаевское; голова мальчика была примечательна - она была широка и выпукла в висках. Это очень нравилось аксакалу, ибо в народе выпуклые виски детей выдавались за особую примегу, связанную с будущим умом, везеньем и счастьем; «виски выпук-

лы, как бурдюки» - произносилось в похвалу.

Мужчине в степях не подобало особо выказывать свою нежность. Поцелуи и объятия были простительны лишь детям и женщинам. Аксакал гладил последыша по голове, а в зимние вечера прятал в полы своего просторного теплого купе, большого халата из верблюжьей шерсти. Летом мальчик постоянно торчал на седле впереди аксакала, при разъездах последнего по аульному хозяйству.

Взаимная привязанность отца и сына была молчаливой и согласной, мальчик чувствовал всеобщее уважение и всеобщее послушание, которыми пользовался этот большой, бородастый и немногословный человек в ауле, и это переходило к нему - свою избалованность ласками аже Нурым и окружающих он в отношении с отцом не выказывал и с самого раннего детства привык исполнять его волю. Потом уже, взрослев и делясь с отцом своими мыслями и думами, он найдет в себе волю для почтительных и настойчивых возражений. Пока же он весь - послушание и подражание. Как только начал говорить, отец научил его слову «бисмилла»! Потом, когда сын стал нанимать его наставления, он поучал: «Бисмилла, сын мой, твое первое слово. Все ты должен начинать с него. Запомни, как к знаменитому нашему акыну Орынбаю обратился его сын Омар, прося оценить стихи, которые он только что сочинил:

Я - сын Орынбая, мое имя Омар

*В моей душе горит томар**

Орынбай перебил его: «Плохо, сын мой. Надо начинать с аллаха, начала всех начал:

Я сын Орынбая, мое имя Омар,

В моей душе песня - аллаха гар.»

Пять раз в день отец совершал намаз - молитву. До намаза следовал обязательный обряд омовения. Бокеш лил воду в ладони отца из медного кумгана. Мальчик вскоре заменил в этом занятии старшего брата, стараясь поливать такой же аккуратной ровной струей, как это делал Бокеш, и как того требовал отец. Расстелив постоянно висевший на перекладине у окна жайнамаз - легкий, узорчатый коврик, отец становился на него против окна и, заткнув большими пальцами уши, растопырив вверх остальные пальцы, он нараспев произносил:

«Алла акпар! Алла акпар!» (Великий боже!) и вращал при этом головой справа налево, слева направо. Потом клал ладони на живот и переходил в молитвенный шепот. Далее, падал на колени, касался лбом ковра и снова поднимался. Намаз заканчивался молитвой, читавшейся нараспев, сидя на подогну-

тых ногах. Аже тоже становилась в стороне на свой невзрачный, матерчатый, полосатый жайнамаз и точно повторяла все, что делал отец, только ни разу не выходя из молитвенного шепота - женщине не полагалось читать божественные слова нараспев. Отец совершал намаз, полузакрыв глаза, и казалось, что он в этот момент совершенно отрекался от окружающего и вступал в незримую связь с тем, кто находился где-то далеко-далеко и требовал постоянного поклонения и прославления. Зато на лице аже не выражалось ничего подобного - она равнодушно шевелила губами, а ее слух продолжал реагировать на звуки во дворе, в соседней комнате. Иногда мальчик пробовал садиться рядом с отцом или аже, но не выдерживал длинных молитв и бесконечных поклонов.

Среди детских впечатлений мальчику запомнилась ураза - мусульманский пост. Запомнилась, может быть, поэтому, что вдруг в самую жаркую пору лета все взрослые аула перестали есть, старались больше находиться в юртах, в тени, мало слышалось смеха и веселья возле юрт и у жели (привязь для жеребят), где доили кобыл. Все ели только от заката до первых лучей далекого восхода, а днем не полагалось брать в рот ничего, даже купанье считалось нарушением. И это продолжалось целый месяц. Некоторые из сверстников мальчика тоже держали уразу, но лишь от одного до трех дней, как это разрешалось для детей и подростков. В семье Имантая-аксакала не заставляли детей держать уразу. Аже Нурым сама могла поститься сколько угодно, но ни на один день не хотела допустить этого для своих малышек. Маленький Каныш замечал, как его голодные сверстники, «державшие» уразу, иряться и таясь, проглатывали то кусочек сушеного сыра - курта, то баурсак.

Второе слово, которое на всю жизнь должен был запомнить мальчик - это «ассалумагалайком», что означает «да снизойдет на тебя божья благодать», приветствие с одновременным выражением почтения к старшему, ибо вслед за почтением к аллаху следовало почтение к старшим. Встретив мужчину старше по возрасту или входя в дом, каждый воспитанный человек должен, притрагиваясь правой ладонью к груди и слегка наклонив голову, произнести это слово и подать обе (обязательно обе!) руки; далее почтительно дожидаться, что скажет старший. Как правило, следовали расспросы о здоровье приветствовавшего, его родных и близких, о хозяйственном благополучии. После ответов на эти вопросы, переждав небольшую паузу, мог задавать подобные вопросы и приветство-

вавший. Мальчик Каныш вначале очень стеснялся приветствовать таким образом бородатых, суровых на вид гостей отца и поражался, как брат Бокеш не по возрасту солидно и легко выполнял этот ритуал приветствия. Умение почтительно, скромно и с достоинством приветствовать старших особо ценилось в степях, по этому умению определялась воспитанность молодого человека. Имантай-аксакал строго следил за тем, чтобы его родные и близкие были почтительны и внимательны к старшим по возрасту, и, естественно, особо наставлял этому своих детей.

И еще каждый воспитанный и уважающий себя казах должен был знать и почитать своих предков. Каныш. Его отец Имантай. Имантай - сын Сатпая, Сатпай - сын Шотика; отец Шотика - Баубек; Баубек - сын Жадигера; а Жадигер - праправнук основателя самого сильного рода в этом околотке - Каркаса. Степной кочевой казах также должен знать с кем, на каком колене сходятся и расходятся родственные связи по мужской линии. Отец подробно рассказывал, чем прославился каждый из его предков и что соседи Шормановы, например, с ними в родстве на седьмом колене - ибо Жадигер, от которых идут Сатпаевы, и Мырзагул, от которого ведут свое происхождение Шормановы - сыновья Аная. Воспитывая в таком традиционном духе сыновей своих, Имантай-аксакал имел честолюбивые замыслы о достойном продолжении рода своего, о котором он был очень высокого мнения, ибо редкий казах не гордился своими предками. Его воображению представлялась; например, такая обычная для степей живая картина. Лето. Едет в степи мальчик, навстречу пожилой человек.

- Ассалумагалайкем! - говорит почтительно мальчик, при этом конь, привыкший к таким степным приветствиям, останавливается сам.

- Уагалайкомассалям! - отвечает старший, - Добрый путь, жигит, из какого роду - племени будешь?

- Из аула Сатпая, сын Имантая - Каныш.

- А, сын Имантая. Как здравствует твой почтенный родитель?

- Как поживает почтенная Нурым? А я из аула (называет имя предка и свое имя). Она не рассказывала тебе, что моя бабушка и ее бабушка были сестры? А отец не говорил тебе, что почтенный дед приходится нам жиен? Да и мы сами недалеко - сходимся на 12 колене. Так что, молодой человек, мы - близкие, совсем близкие люди...

- Как же не знать вас. О вас мой отец всегда отзывается с почтением. Ваш прапрадед (называет имя) с моим прапрадедом (называет имя) возглавляли поход на калмыков... Ваша бабушка, кажется, была в числе добра, вывезенного моим прапрадедом...

- Ах, молодой человек, все уже тебе Имантай рассказал, и все ты запомнил и уже успел намекнуть на мое калмыцкое происхождение... Но и я мог бы рассказать про твоих предков... Да очень уж уважаю твоего родителя...

- Извините, пожалуйста, я ведь к слову... Хотел похвалиться своим прапрадедом, а получилось... - краснеет мальчик.

- Пожалуйста, пожалуйста, и я ведь к слову... Какие были времена, какие были люди... (казах всегда ставил прошлые поколения выше нынешнего). Спасибо, жигит, за уважение к бороде, да снизойдет на тебя божья благодать... А то теперь иные проскачут мимо, не знаешь, шайтан проскакал или сын казаха... Пожми руку почтенному Имантаю, передай салем почтенной Нурым...- И, перечислив еще нескольких лиц из аула Сатпая, еще раз пожелав мальчику божьей благодати, аксакал продолжает свой путь в рассуждении: «Какой почтительный и достойный сын растет у Имантая. Всего, наверное, 13-14 лет, а каким взрослым себя держит». И обязательно расскажет об этом во всех аулах, где он побудет. И понесет узункулак добрую славу о сыне Имантая.

Воспитанный молодой человек также должен уметь встретить гостя. Вдали показался всадник. Из аула никто не выезжал. Значит -путник. Заметно, что всадник уже осадил коня, переходя с трусцы на шаг. По статной осанке коня и манере, с которой всадник перешел на шаг размеренный и покойный видно, что едет солидный человек, умеющий издалека показать свое уважение к аулу, к которому он подъезжает. Тут Каньшу надо все делать точно так, как делает брат Бокеш. Крикнуть на собак, чтобы они не поднимали непрерывный лай, особенно на Алыпсока, который любит наскочить на приезжих, дабы показать хозяину свое рвение. Ни в коем случае нельзя бежать навстречу всаднику. Надо спокойно выждать, когда он подъедет на такое расстояние, что достаточно будет сделать несколько шагов до места, где приблизительно должен остановиться гость. Почтительно сказать:

«Ассалаумагалайкем», «Уагалайкомассалям. Это дом Имантая?» «Да, ата, мы рады гостю». Мальчик спокойно и степенно подходит к всаднику ближе, справа с аттара, левой рукой берет лошадь за уздцы, другой помогает аксакалу сойти с коня.

Пока аксакал потряхивается, мальчик успевает опустить тугую подругу и привязать коня к коновязи. Гость замечает, как проворные руки мальчика сделали трудно развязывающийся, безупречный узел-курмеу, значит, не в первый раз встречает гостя, значит, родители могут надеяться, что с ним не будет такой оплошности, когда конь уважаемого гостя уходит домой один. Аксакал направляется к юрте, мальчик идет рядом, чуть приотстав, и лишь у двери слегка выдвигается вперед, чтобы открыть ее. Гость и Имантай-аксакал рады друг другу, но приветствия их спокойны и сдержанны, выражение шумного восторга не приличествует мужчинам. Гость обращается к байбише Нурым и приветствует ее, но не подает руки, видимо, он старше Имантая. Мальчик продолжает ухаживать за гостем. Когда тот снимает сапоги и остается в кожаных чулках-масы, мальчик помогает снять верхнюю одежду - шепкен. Сапоги и шепкен на предусмотренное место расположит мальчик. Гость усаживается рядом с Имантаем. Продолжаются подробные расспросы о здоровье домочадцев, о живых и мертвых аула гостя, близких, о хозяйственном благополучии и т.д. Уже вносят в большой чаше кумыс, байбише Нурым ставит чашу-тегене перед собой и перемешивает кумыс так, чтобы сбить с него хмель: зачерпнув большой почти поллитровой, красиво отделанной деревянной ложкой-ожау и, подняв, наклоняет ее так, что кумыс льется обратно в тегене тонкой ровной струей, пузырясь и распуская круги. Но пришло время намаза. Дело аллаха прежде всего. Мальчик держит в руках медный кумган с теплой водой и помогает аксакалам совершить обряд омовения, а до этого он уже успел сказать дяде Шадету, чтобы тот свеживал барана: к отцу приехал гость.

- Имеке, это твой младший, твой кенже? - спрашивает гость.

- Да, слава аллаху, младший кенже, - отвечает не без гордости отец.

- Да снизойдет на твоего сына божья благодать, да будет он уважаемым человеком.

Это похвала. Мальчик очень понравился гостю, но напрямик хвалить не принято - опасны язык и глаз. Имантай чувствует, понимает, что пожелания гостя искренни, от души, это приятно ему, но говорит:

- Что-то не представляю себе, чтобы с ним получился толк. Мельчают люди. Они уже не будут иметь за душой то, что имеем мы...

- Не прав ты, Имеке. Они, может быть, и не будут нуждаться в том, что имеем мы. Достаточно того, чтобы мальчик твой

был среди ведущих своего поколения.

Имантаю нравится пророчество гостя, он очень хотел бы, чтобы оно сбылось, но не отвечает на его слова, потому что расстелен жай-намаз и большие пальцы аксакалов еже в ушах.

Рассказывают, что маленький Каныш, очень рано усвоил наставления отца и примеры старших, быстро вырос и был наряду со своим братом Бокешем, которого он очень любил и которому во всем подражал, самым воспитанным мальчиком в ауле. Думается, что это, в основном, верно, однако мальчик, по всей вероятности, все же оставался мальчиком. Не раз, наверное, маленький Каныш забывал строгие наставления отца и не оказывался на месте, когда надо было встретить и провожать гостя, не всегда к месту молчал и к месту говорил, словом, не всегда помнил правила почтительности и приличия. Наверное, по мере того, как росли дети, Имантай-аксакал и байбише Нурым среди радостей испытывали и немало горестей, ибо, очень много соблазнов было для детской души в кочевом быту.

Кочевой быт ... Многие детские восторги, незабываемые радости, связаны с ним. Но то, что кочевой быт заморозил большой народ на века на одном и том же примитивном образе жизни, он поймет потом, пока же в детской душе этот быт отзывался лишь впечатляющими переменами, яркими красками, благоуханием степей, чувством раздолья и безбрежности.

Апрель... Уже сошел снег, но еще ветрено и холодно. Аже Нурым строго следит, чтобы Каныш оделся тепло, хотя мальчику это не нравится - трудно бегать, не успевает за легко одетым Жумашем. В кыстау грязно, кучи помета, накопившиеся за зиму, издают неприятный запах; его раскисшие пласты цепляются за подошву и каждый раз перед тем, как войти в избу, надо тщательно чистить сапоги: нудная работа, но ничего не поделаешь - аже погонит обратно. Можно было бы не наступать на грязь, но не получается - много дел. Во-первых, нужно сделать хороший мяч, а для этого надо подойти к красноперстой корове, вернувшейся с поля и лижущей привязанного теленка и надергать слезающую шерсть, которая весной хорошо скатывается в мяч, только надо вложить в сердцевину камешек, чтобы мяч был достаточно тяжел. И надо так умело укатать, чтобы он был кругл и упруг. На этот раз он постарается сделать мяч не хуже Бокеша, который зазнался, представляется взрослым и не хочет помочь родному брату. Во-вторых, за зиму соскучились по игре в асыки-бабки, а сейчас powyше от дома открылась полянка, хоть и на холодном ветру,

но можно славно поиграть. В-третьих, двоюродный брат Карим, проворный и быстрый на всякие шалости и выдумки, угорваривает попробовать приручить гнедого стригунка, подаренного Канышу братом аже Нурым поездить на нем верхом, потому что позже взрослые не разрешат им этого. В общем, находилось много других увлекательных занятий, и не раз мальчик к великому ужасу байбише Нурым возвращался после насыщенного подобными «делами дня» голодным, мокрым, грязным, покрытым шерстью линяющего стригунка, с разбитым носом. Но в отличие от многих сверстников маленький Каныш с не меньшим увлечением предавался исполнению наставлений отца, не по-мальчишески сосредоточенно, как расказывают его сверстники, слушал песни, сказки и музыку.

Как только сойдет снег - казаха тянет в степь. Жить в душном и грязном кыстау уже невмоготу. Но надо сделать много дел, прежде чем начать кочевку. Необходимо очистить двор, вывезти помет, дожидаться, пока сложенный в кучу помет начнет преть, перетоптать его, нарезать в кирпичики и сложить во дворе для сушки и хранения, ибо помет-кизяк главное топливо в здешних местах. В ауле все от мала до велика ранней весной заняты этой работой. Необходимо ещё следить за скотом, в особенности за овцами, ибо еще не кончился окот. Аул Шормановых, например, откочевывал рано, т.к. Шормановы имели возможность оставить на все лето в кыстау своих работников, которые не торопясь выполняли все работы. Имантай-аксакал и его родственники такой возможности не имели, поэтому на время весенних работ ставились юрты возле кыстау, и все с удовольствием переходили жить туда.

Сама кочевка тоже связана со многими заботами; все сложить и связать в удобные тюки, для чего нужно много веревок, арканов и др. ибо все за зиму изнашивались, а для этого надо снять волос с холков и хвостов стригунков и двухлеток, надо готовить рыдваны, телеги, брички; починить, обновить, проверить седла, сбрую, летом все от мала до велика будут на конях; докоптить и сложить в ящик-кебеже мысо-сюр, оставшееся с зимы. Аже Нурым занята варкой мыла на весь аул. Это дело хлопотное. Женщины аула под руководством аже кипятят в больших котлах-казанах накопившиеся за зиму кости, снимая жир. В других котлах кипятят золу, которую всю зиму собирала аже. Это не простая золя, а зола от бурьяна-лебеды, алаботы. Золю отделяют и выбрасывают, а воду продолжают кипятить, пока не остается сероватый порошок. После нескольких дней такой работы аже Нурым и несколько жен-

щин аула, забрав отвар-порошок от золы и костный жир, уединяются в кухню-шошалу. Каныш сгорает от любопытства: ему кажется, что там, в шошале, где стоит дым коромыслом, аже Нурым, собрав помощниц, колдует, как мыстан-кемпир (баба-яга). Но аже строго следит за тем, чтобы дети и мужчины случайно не заглянули в шошалу, ибо нет ничего опаснее детского и мужского глаза: развар испортится и мыло не сварится. К вечеру довольная своей работой аже раздавала всем детям по маленькому круглому кусочку мыла - бузаушик. Этот удивительный бузаушик с горьковатым запахом хорошо пенился, и пена его легко снимала грязь. Основная же масса мыла лежала в виде громадного коричневого куска, который завтра аже Нурым разрежет на меньшие куски и раздаст каждой семье аула. Варилось мыла столько, чтобы хватило на весь год. По горло работы и у детей. Их заставляют быть постоянно со взрослыми, надо сбежать за тем-то, принести или поддержать то-то, понынчить маленьких пока заняты взрослые и т.д. Сверстники помнят, что одной из главных забот маленького Каныша было помочь старшей сестре Газизе сложить книги отца в ящик. Запомнили, может быть, потому, что книги тогда в аулах были редкостью и для обычного степняка ценности не представляли. Естественно, что все смотрели на книги Имантая, занимавшие почти целый воз, как на чудачество, которое у аксакала было смолоду и с годами усиливалось; считали, что для того, чтобы быть ученым человеком, достаточно знать коран, да еще две-три книги, а когда их целый воз... кто поверит, что один человек может прочитать столько книг и тем более вместить их содержание в одну голову. А книг у Имантая было действительно много. Они, после возвращения в кыстау на зиму, расставлялись на полках у стены. Весной же увозились на джайляу. Имантай-аксакал ни за что не хотел хотя бы часть оставить в кыстау, он очень беспокоился за их целостность и сохранность и не спускал с них глаз. Книги складывались в абдра - красный деревянный ящик с инкрустациями. Абдра устанавливалось на телегу, в которую было положено сено, чтобы стены абдры не терлись о телегу и не сходила с них краска. Далее, каждая книга бережно обтиралась влажной тряпкой (отец лично научил их этому) и выносились осторожно, чтобы ветер не вырвал и не унес листы. Отец указывал, какие книги положить в последнюю очередь, чтобы легче было достать для чтения летом. Словом, это была трудоемкая и ответственная работа, недаром она выполнялась Газизой. Своенравная сестра иногда при нечаянных шалостях или недоста-

точно проворном исполнении ее приказаний давала Канышу подзатыльники. Он пробовал бунтовать, поднимать рев, но поскольку бунт его никто не поддерживал, быстро забывал обиды и снова льнул к обычно ласковой Газизе. И вообще Газиза почему-то занимала особое положение в семье, она была властной, как хозяйка, и слушались ее все: и Бокеш, и даже старший брат Абсалям и вся его семья, то же делал Каныш. Всю зиму аже только и была занята тем, чтобы наряжать Газизу. Она шеголяла яркими платьями, перстнями на пальцах, серебром шолпы в косичках, ходила в лисьей шубке и шапке, украшенной каким-то невероятным красивым, отливающим цветами радуги мехом, доставшимся, как рассказывали, в подарок давным-давно от каких-то тогдашних сватов. Она все делала так, как хотела сама. Мальчик лишь потом узнает, что в степных семьях вообще принято было уважать и терпеть шалости детей женского пола. Считалось, что для них только детство и девичество - счастливая пора, а потом, выйдя замуж, они переходят в подчиненное, почти рабское положение в чужой семье, в чужом роду.

Весенние заботы в кочевом ауле, требовавшие большого трудового напряжения, массы будничных хлопот окрашивались большими радостями, связанными с пробуждением природы. Имантай-аксакал приходился почти ровесником великому Абаю. Зимовье поэта находилось в 250-300 километрах юго-восточнее зимовий аула Сатпая. Природные условия и образ жизни их были почти одинаковые. Вот как описывает Мухтар Ауэзов жизнь в аулах отца поэта Кунанбая в раннюю весеннюю пору: «... некоторые аулы уже успели перейти из зимних помещений в юрты, белоснежные и сероватые купола которых усеяли зеленеющие поляны возле зимовья. Семьи, где были старики и старухи, еще оставались в домах, но вся молодежь переселилась в просторные юрты, полные весенней свежести. Аулы стояли, как в ярком весеннем оперении, были полны молодой бодрости, кипели полнокровной жизнью. Пестрые ягнята и козлята прыгали и резвились на солнцепеке, оглашая воздух непрерывным блеянием; важно выступали пушистые верблюжата, поводя большими карими глазами; конские табуны кишели курчавыми длиннотухими жеребьятами; телята, подростшие и проворные, задрав хвосты, смешно подпрыгивали и носились по траве. Вся природа, расцветшая пышно и неудержимо, пела согласный гимн торжествующей жизни... Всюду доили кобыл, пасшихся год со стригунками, и каждое утро и вечер звонко перебалтывали кумыс в черных лос-

нящихся кожаных мешках».

Уже первая половина мая. Наконец, все готово к кочевке. Телеги, рыдваны, брочки нагружены, колеса смазаны дегтем, часть вещей связана в тюки, перевозимы на верблюдах, т.к. повозок не хватает. Детей укладывают пораньше. Лошади стреножены, волы пасутся рядом, верблюды на привязи. Каныш и его сверстники проявляют взрослую озабоченность: просят присмотреть за волами, но их укладывают спать, потому что завтра они могут заснуть на седле и упасть с коня. Маленькому Канышу не спится. Ему уже 7 лет. Он завтра впервые будет выезжать самостоятельно на коне, а не сидеть в седле впереди отца или, еще хуже, на телеге с аже, как это было до сих пор. Целый день он возился с седлом и сбруей, особенно с седлом, ибо оно было сделано специально для него стариком-мастером, который жил в их доме почти месяц. Сделал седло он на славу - обшил специально выделанной кожей, из которой шьют сапоги и которую отец привез издалека, с базара, а сверху прибил серебряные украшения. Особенно красива головка седла - на ней серебро блестит, как чешуя на голове и шее змеи, когда она угрожающе поднимает голову и выгнет шею. Серебром блестит и уздечка из свежей сыромятины - отец ее сделал сам. На гнедом трехлетнем коне ездил Бокеш, теперь его отдали Канышу, т.к. конь хоть и резв, но спокоен. Бокеш уже достаточно взрослый, чтобы ездить на более поровистом коне. Мальчик засыпает:

его маленький гнедой превратился уже в тулпара-аргамака, и он летит на нем впереди всех, точь-в-точь как батыр Кобланды на своем Тайбурыле, о котором пел недавно проезжий акын.

Наступает самая веселая пора в жизни кочевников. Через один-два привала встретятся многие аулы каржасцев и айдабульцев из далеких кыстау. Старшие предвкушают удовольствие от того, как встретятся с родственниками по женской линии, с аулами и семьями куда-сватов. Особо ждут этих дней молодые женщины, отданные в аулы с далекими зимовьями и почти год не видевшие торкин-родной аул, родителей, братьев и сестер. Старые отцы и матери ожидают замужних дочерей, познакомиться, поласкать хоть и не сыновних, хоть и не прямых, но все-таки внучат-жиен. Пойдут непрерывные приглашения, обмены подарками, пиры и той, которые начнутся, как обычно, с невинной причины: аул, который прибыл на привал ранее и уже поставил юрты, готовит только что прибывшему аулу ерулик-угощение, необходимое ввиду того, что

новоприбывшим некогда готовить - от мала до велика заняты устройством на новом месте. Аксакалы будут собираться в разных аулах и обсуждать за кумысом и бешбармаком из сушеной конины-сюр, реже из свежей баранины, впечатления от только-что пережитой зимы, советовать о пастбищах и кочевьях нынешнего года, разрешать межаульные, межродовые спорные дела. Особо возбуждена молодежь в предвкушении возобновления знакомства, завязанного прошлым летом, в ожидании новых интересных знакомств. Будет возможность погарцевать: показать свое удалство, силу, посостязаться, а вечерами воздвигнуть качели-алтыбакан и смотреть, кто выше раскачает, и кто при этом лучше споет, или затеять ночную игру аксуйек-белая кость- кто раньше найдет заброшенную кость. Дети любили эту веселую игру, требовавшую быстроты в беге, проворства, зоркости и смелости, юноши и девушки особенно любили аксуйек, которая представляла им возможность уединиться. Маленький Каныш вместе со всеми детьми его возраста будет, остро чувствовать этот резкий выход из узкого привычного круга впечатлений, надоевших за долгую зиму, и душа мальчика будет возбуждена, волнуяще переполнена новизной ощущений от братания с незнакомыми аулами и людьми. Днем в кочевке он на своем гнедке будет стараться не отстать от сестры Газизы, гарцующей на сером иноходце, А вечером, несмотря на усталость, станет кружиться в шумной толпе детей и подростков возле алтыбакана, пока кто-либо из старших по распоряжению аже не вытащит его из этой толчеи и не приведет в юрту. Засыпая, он вспомнит, как все обращали внимание на рослую красивую сестру Газизу, как то и дело подъезжали к ней молодые жигиты, стараясь отделить ее от подруг и перекинуться словом, и как сестра весело и звонко отвечала им. Вспомнит, как сестре было приятно внимание юношей, и как чем больше чувствовал он это, тем сильнее ревновал ее к ним, особенно к одному из них, с которым, как показалось, мальчику, сестра охотнее обменивалась шутками.

Маленький Каныш еще не знал, что кочевки весной не всегда и не всем доставляли радость. Рядом с весельем были и заботы, и печали. В книге М. Ауэзова «Путь Абая», которой академик не переставал восхищаться, он прочитал: «Но если для кого-нибудь кочевка - удовольствие, то чабанам и табунщикам она доставляет бесконечные хлопоты, неисчерпаемые заботы, сплошную муку: то расседланные кони забредут в чужой табун, то ягнята одного аула смешаются со стадом дру-

гого, то овцы перепутаются так, что не разобрать... В такой неразберихе ягнята и бараны беззащитной бедноты становятся добычей любителей чужого добра. Как говорится: «пальцем покажи, глазом моргни». И сколько аткаминеров, оберегая свое стадо, потрошат в ночной темноте живую «прибыль, оказавшуюся в их табунах, и торопливо - полусырую - съедают у костров». И академик вспомнил то время, когда он начал постепенно с горечью и разочарованием, со стыдом познавать, что в эту весеннюю пору оживания и цветения природы, когда в степном человеке пробуждается все задушевное, чистое и доброе, когда им овладевает безрасчетность и беззаботность, продолжался для многих напряжений, тяжелый, изнуряющий труд, и в эту пору продолжали омрачающим диссонансом врываться в жизнь факты грабежа, насилия, беззакония, чинимые невежественными и алчными людьми, нравы которых оставались чуждыми сантиментов даже в эти веселые и радостные дни. Приходил конец сладким сновидениям, называемым детством. И все же академик благодарил судьбу за то, что детское неведение и забота родителей оградили его от слишком раннего ощущения тяжелых сторон тогдашней степной жизни, за то, что его детство остается в его воспоминаниях - одним из свежих промежутков его жизни...

...Первый привал Сарымсақты в 18 км от кыстау. Солнце склонилось к закату, но до ночи есть время - недаром Имантай-аксакал торопил караван, чтобы доехать до привала пораньше, ибо до темна надо успеть поставить юрты. На привале ждали уехавшие вперед отец и брат Абсалям. Они уже определили место для временного расположения аула. Вначале ставится 8-створчатая юрта Имантая-аксакала. Участвуют в этом деле все от мала до велика. Работа веселая, но не суетливая. Последовательность операций, выработанная сотнями лет, известна всем. Командует брат Абсалям. Восемь решетчатых стенок-кереге скрепляются между собой в круг. Надо держать кереге строго вертикально, пока связывают и скрепляют. Когда мальчик впервые услышал: «Держи, Канышжан!» - и он, подбежав, с нагугой, до покраснения ногтей держал кереге, этот момент был одним из самых радостных в его жизни будущего ученого. Значит и он теперь может участвовать в таком ответственном деле, как сборка юрты. А работы еще много. Лежит огромная связка уыков-жердей, которые ставятся на кереге таким образом, чтобы их изогнутые верхние концы сходились в купол. Подавать уыки - мальчишеская работа. Тут только успевай. Далее поднимается шанрак - деревянное кольцо с

отверстиями, в которые входят заостренные концы уыков. Поднятие его было делом сравнительно несложным, требовавшим правда определенных физических усилий. Но ни один аксакал не позволял поднимать шанрак кому придется, ибо - это символ существования данной семьи, символ ее процветания. Шанрак должен подниматься человеком, который ответственен за настоящее и будущее этой семьи, этого шанрака. В семье Имантая-аксакала это дело последовательно поручалось Абсалям, Бокешу и Канышу. Отец будет особенно рад в тот день, когда впервые семейный шанрак поднимет его кенже, младший, опора его старости и будущий хозяин большого дома, стройный юноша Каныш. Наконец, шанрак поднят, деревянный каркас-скелет юрты готов. Остается покрыть кошмами и крепко их привязать к каркасу. Кошмы не простые. Вначале крепится толстая стенная кошма - туырлык. Далее следует кошма - узюк. Узюком покрываются уйки - крыша юрты. И уже на шанрак ложится кошма-тундук.

Наконец, головная юрта, юрта большого дома поставлена, продолжают ставить юрты других семей аула. Но уже ночь. А посыльные от Садуакаса Шорманова, друга Имантая-аксакала, аул которого прикочевал в эти места на несколько дней раньше, ждут, приглашая на ерулик. Все направляются туда. В просторной юрте Садуакаса на скатерть-дастархан ставят большую продолговатую деревянную тарель-астау, где на дымящейся горке вкусно пахнувшей смеси свежего мяса и сюр лежит баранья голова. Отец достает из кармана свой большой, острый перочный нож, вынимает его из чехла, раскрывает и, левой рукой взяв баранью голову, привычным движением отрезает ухо, захватывая побольше мяса, далее, макнув в соус, кладет на ладонь сидящему рядом Канышу. Съев ухо и едва притронувшись к мясу в астау, мальчик засыпает. Проснувшись, он видит, что лежит в юрте, которую вчера вместе со всеми родичами ставил он сам. Пахнет свежей травой, кумысом от большого кожаного бюрдюка - саба, которая стоит в юрте, косые лучи яркого солнца сверлят отверстия в тундуке. За юртой шум озабоченных голосов, ржание жеребят, бляные овец. Каныш вскакивает и выбегает. Солнце уже почти в зените и слепит глаза. Мальчик очарован. На вчерашней зеленой ровной скатерти, как по волшебству, возник городок-аул. Юрты стоят красивым полукругом. Справа шестистворчатая серая юрта Борамбая, слева пятистворчатая белая Абсаляма, далее аульного муллы Нигмет-ходжи, серые юрты дяди Шалета, дяди Дюсембая и других. Возле каждой юрты горят кост-

ры и дымят самовары. Девочки и мальчики в каждой семье уже насобирали вдоволь кизяка. А вокруг вдали пестрят юрты других аулов, в ленивой полуденной жвачке улеглись табуны овец. Каныш взглядом хочет найти аул Садуакаса-ата, где были в гостях прошлой ночью, но слышит аже: «Проснулся, мой мальчик! А я тебе готовлю ак-иримчик. Иди позови Бокеша». Ак-иримчик, действительно, вкусен в это время. В кипящее молоко надо влить немного простокваши-катык, и молоко свернется, образуя белый творожистый осадок. Надо быстро снять казан и отлить жидкую часть получившейся смеси. Останется ак-иримчик - нежная, вкусная масса, вобравшая в себя терпкую пряность весеннего разнотравья. Если смесь покипятить подольше, то осадок пожелтеет, получится сар-иримчик, который тоже вкусен, но только в сушенном виде. Мальчик чувствовал, что голоден. Надо быстрее позвать Бокеша и покушать. Но Бокеш занят очень интересным делом - он помогает старшим ловить и привязывать к жели жеребят от дойных кобыл. Подбежав к жели, Каныш забывает, что послан за Бокешем - очень уж потешен пегий жеребенок, смотрящий на мальчика выпуклыми нежными глазами. Мальчик, осторожно протягивая руку и нежно приговаривая: «Мой милый, мой хороший, мой маленький», - подходит к жеребенку, тот смешно дергается назад, упершись ножками оттягивает жели, но Каныш продолжает подходить, нежно притрагивается к мордочке жеребенка и гладит. За этим занятием его застаёт Гази-за. Получив очередной легкий подзатыльник, он нехотя плетется за сестрой к завтраку, продолжая с умилением поглядывать на жеребенка, который уже почти перестал дергаться и еще чуточку оставалось, чтобы подружиться совсем.

Здесь на Сарымсакты аул пробудет с неделю - нужно охолостить стригунков и баранов-однолеток; провести весеннюю стрижку овец; надо пригласить то на ерулик, то просто на угощение людей из прикочевывающих и откочевывающих аулов, потому что на джайлау эти аулы будут в отдалении и драгоценная возможность посидеть за одним дастарханом уменьшится. Маленький Каныш уже самостоятельно ездит на своем гнедке в соседние аулы приглашать аксакалов по поручению отца.

На Сарымсакты выпасы хорошие, воды много, можно бы и не спешить откочевывать к следующему привалу Бёльдеш, но в этом году Имантай-аксакал затеял новое и непривычное дело. Дело в том, что его тамыр-друг Андрей Зиновьев из близкого к их кыстау поселения Алексеевки посоветовал ему заняться

хлебопашеством. Прошлой осенью Имантай-аксакал, возвращаясь с кочевков, специально послал человека за тамыром Андреем, и они вдвоем долго выбирали место для пашни. И, наконец, остановились на ровное поляне в местечке Бельдеш. Каныш помнил, что прошлой весной их аул долго оставался на этом месте до тех пор, пока все другие аулы обогнали их на пути к зимовкам. Помнил потому, что все в одиноком ауле, особенно молодые, изнывали от скуки и не раз выказывали недовольство по поводу странных затей стареющего аксакала. Дело оказалось в том, что плуг-соху, купленную отцом через того же Андрея, долго везли сюда на волах из Алексеевки. Соха эта представляла собой тяжелую изогнутую лепешку железа с блестящим наконечником вроде лезвия; имела две ручки и крючки, через которые, к ней впрягались волы. Сильное оживление во всем ауле наступило тогда, когда тамыр Андрей впряг в соху пару волов, подал длинный повод от волов отцу, который уже сидел верхом на своем коне, сбоку волов стал дядя Шадет с длинным хлыстом в руке. Тамыр Андрей сказал отцу что-то на своем языке, тот громко произнес «Бисмилла» и потянул повод. Все стоящие вокруг повторили «Бисмилла!» Дядя Шадет хлестнул волов, те пошли, тамыр Андрей, крепко держась за ручки сохи, ловко направлял лезвие ее вниз: оно врезалось в траву и стало выворачивать землю ровной черной лентой. Воды пошли натужно и тяжело. Отец ехал впереди медленно и прямо, в точности выполняя указания русского друга, иначе борозда получится неровной и кривой. Весь аул высыпал посмотреть это чудо. Волы тянули долго, наверное, чуть не полверсты. Потом тамыр Андрей выпустил соху из рук, она выпрыгнула из земли, легла боком и поташилась по траве. В стороне от первой ленты тамыр Андрей потянул к аулу вторую, обратную ленту, параллельную первой. Брат Абсалям и другие тянулись к сохе, но тамыр Андрей не разрешал им, продолжая крепко держать железные ручки сохи и идя за ней красивой, медленной, несуетливой, величавой развалкой. Ему хотелось, по-видимому, протянуть первые пахотные ленты ровно, без изъяна. Каныш и его сверстники тут же оценили как интересно пробежать на траву, по мягкому, прохладному углублению, остающемуся за сохой. Для босых это было одно удовольствие. Самое интересное началось когда тамыр Андрей разрешил дяде Шадету держать соху. Соха у дяди Шадега выскакивала из земли, чертила траву кривой черной линией - никак ему не удавалось ввести лезвие в землю. Пришлось под всеобщий хохот останавливать волов и

возвращаться к тому месту, где дядя Шадет впервые в роде Жадигер начал труд пахаря. То же случилось и с Абсалямом. Однако постепенно соха стала подчиняться, и под веселое подбадривание тамыра Андрея, отца и аульчан дядя Шадет повел плуг..До вечера успели сделать несколько загонок. Образовалось два длинных, черных, лоснящихся на солнце прямоугольника. Возились еще два дня, а на третий день, зарезав жеребенка и пригласив всех с тех кочевков, которые еще не отъехали далеко, Имантай-аксакал получил благословение всех участников пира на новое для казаха дело, и, довольный свершенным, дал приказание складываться, ибо уже наступила поздняя осень и надо было приближаться к кыстау.

...Отец беспокоился в ожидании своего тамыра Андрея, за которым поехали Абсалям и Бокеш. На пятый день пребывания аула в Сарымсакты к вечеру приехал тамыр Андрей на собственной паре сытых коней, впряженных в бричку. Его торжественно сопровождали старшие братья Каныша. По тому, как вспотели кони и как высоко сидел тамыр Андрей на возу, видно было, что он нагружен чем-то тяжелым. Тамыр легко соскочил с воза, подал руку Имантаю-аксакалу и остальным взрослым, погладил Каныша и других детей по голове, стащил с воза мешок и стал угощать детей небольшими вкусными хлебными кольцами, а целый мешок больших хлебных колец отдал аже Нурым. Каныш знал от отца, что кольца поменьше и порумяней называются коралики, а большие и мягкие кольца называются калачи. И калачи, и коралики быстро рассеялись по рукам аульных детей и молодежи, ибо они казались намного вкуснее обычных для аулов пресных лепешек, выпекаемых в сковороде или в золе, вкусней даже баурсаков. Каныш ожидал, что и в этот раз добрый тамыр Андрей привезет хрустящие и вкусные огурцы и сладкую морковь, как прошлой осенью, но их, к великому огорчению, в мешках не оказалось. Аже Нурым пояснила, что урожай овощей снимается к осени.

На Другой день аул перекочевал на Бельдеш. К вечеру, когда подъехали к привалу, вспаханное поле, черный прямоугольник которого резко выделялся в окружающей безбрежной зелени степи, казалось, дышало. От него шел пар, который был заметен в лучах предзакатного солнца. Это понравилось тамыру Андрею: значит, земля впитала в себя влагу. Отец с тамыром Андреем подошли к полю, помяли в руках черную вязкую землю. Каныш не отставал и делал то же. Отец велел снять с воза большую квадратную железную решетку с длинными

зубьями, которую еще зимой на розвальнях привез отец не то из Алексеевки, не то из Баян-аула. Отец назвал решетку бороной и сказал, что она нужна, чтобы размягчить землю, вспаханную осенью. Теперь к этой бороне, положенной зубьями вниз, тамыр Андрей прилаживал упряжь, чтобы впрячь в нее волов. На другой день с утра до вечера с перерывом на обед тамыр Андрей и дядя Шадет верхом по очереди гоняли пару волов, таскавших борону по вспаханному полю. Борона теребила, рвала ленты пластов, забивала продольные ямки между ними. Поверхность поля стала ровной и к вечеру сильно пылила от ветра. На другое утро тамыр Андрей взял небольшой мешочек с ремешком, наполнил его пшеницей, поднял на руки и перекинул ремень через плечо: мешок повис на его груди. Такой же мешочек из домотканого тонкого коврика-алаши успела сшить по указанию русского друга даже Нурым и для дяди Шадега. И вот тамыр Андрей тяжело зашагал по полю, увязая по влажной пахоте: взяв правой рукой из мешочка горсть пшеницы, он картинно разгибал руку вначале от локтя, потом от плеча, рассыпая пшеницу с ладони. Дядя Шадет делал то же самое, но, видимо, не совсем верно, т.к. тамыр Андрей часто останавливался и показывал ему как лучше разбрасывать зерно. До обеда рассыпали всю пшеницу. После обеда стали рассыпать овес. На третий день волю снова таскали борону по полю. К вечеру первая посевная компания Имантая-аксакала была закончена. Теперь оставалось уберечь посев от потравы. Для этого надо из джайляу возвращаться к зимовке немного раньше других, остановиться здесь и стеречь, чтобы табуны соседних кочевков случайно не прошли по драгоценному полю.

Отец позднее рассказывал сыну, сколько упреков, колкостей, а то и прямых злобных выпадов пришлось ему выслушать от многих людей из соседних аулов, от мулл и биев за то, что и он, Имантай, считавшийся одним из правоверных мусульман, взялся за дело «кафиров», «неверных». «Раскопал, разранил священную землю предков. Не к добру это. Опять за Шормановыми потянулся, подражает роду, который давно продан белым чиновникам и совсем оторвался от своего народа». Выдержанный аксакал пропускал мимо ушей эти колкости, но молодежь из аулов Сатпая горячилась. Имантай-аксакал успокаивал их, подробно рассказывая о том, что земледелие, дехканство - исконное занятие мусульман и не только мусульман, но и всех культурных народов на земле. «Казахский султан, ханский султан, оказался в плену у владыки соседнего

народа. Молодой султан держал себя с достоинством и понравился владыке. «Я тебя отпущу, - сказал владыка, - но что ты дома будешь делать: наберешь жен и будешь плодить нищих султанят?» «Нет, - ответил молодой султан, - мой народ потерял голову, все торе-знать передрались между собой, все это отзывается на простом народе, он бедствует. Я хочу объединить мой народ, чтобы он стал сильным и обрел свое достоинство». «Твоя цель благородна, мой сын. Я отпущу тебя, - сказал владыка, - но только тебе будет трудно. Будущее за теми народами, которые питаются соками земли, а не соками домашних животных. Твой же народ не умеет обрабатывать землю и выращивать плоды от земли». Впору и нам, казахам, не только есть русский хлеб, но и научиться у русских растить его» - заканчивал он свои речи-проповеди, густо пересыпанные пословицами, поговорками, выдержками из священных и светских книг, примерами из жизни и истории народов. Впоследствии Каныш Имантаевич был поражен, прочитав в «Назиданиях» Абая точь-в-точь такую же притчу о казахском царевиче.

А кочевка продолжалась. Через два-три привала будет река Ши-дерты, а там уже рукой подать до озера Шоптыкуль - родовое и излюбленное место джайляу - летовок аулов Сатпая.

Река Шидерты ... Все спешили к ней... Старшие - потому что здесь при обилии теплой, мягкой воды можно все перемыть, перестирывать, стряхнуть пыль с домашнего скарба, дать выстояться в воде рассохшимся телегам, искупать табуны овец и косяки лошадей, можно отдохнуть и табунщикам, ибо ни одно животное не уходит в это время в сторону от густого разнотравья речной поймы; молодежь - потому, что в неглубоких, но прозрачных плесах можно вволю побарахтаться в теплой и чистой воде, поваляться на горячем песке, наловить шук, застрявших в лужах от весеннего половодья.

Река Шидерты... Маленькому Канышу она казалась чудом природы. Там никогда не иссякала бегущая куда-то в неведомую даль живая вода. Это была совсем не Ащиеу, которая бурлила в апреле разъяренным верблюдом, потом внезапно спадала, а вода в оставшемся ручейке и плесах становилась почему-то горько-соленой, за что и была прозвана речка «Горькой водой - Ащи-су». Не успели кончиться хлопоты по установке юрт, как Каныш со сверстниками спешит на ловлю рыбы. Еще с позавчерашнего дня друзья мастерили сачки - нехитрые деревянные кольца с сеткой и длинной ручкой. На сачок легко попадают шурята, только когда другие ребята с шумом и

гамом погонят их в твою сторону, надо прицелиться к одному из них и, ловко поддев, быстро вынуть сачок из воды - вычерпнется шуенок. Так за несколько часов ребята набирали до десятка шурыт, и весь аул лакомился жареной в сливках или масле рыбой. Маленький Каныш не отличался особой сноровкой в этом деле. Он чаще бывал среди тех, кто гонял рыбу, гикал и шумел. Или вдруг отходил в сторону и смотрел на то, как окраска рыб хорошо сливается с окраской дна и воды, и как внимательно, надо приглядеться, чтобы различить их, и удивлялся тому, как легким, изящным, еле заметным движением плавничков, рыбки стрелой скользят в толще воды. А потом вдруг внимание его привлекали разноцветные гальки, такие гладкие и такие тонкие, что сам дядя Жамин, мастер на все руки, не смог бы, пожалуй, так обработать и отполировать. И часто получалось, что когда другие мальчики возвращались отягощенные нанизанной на веревочку рыбой, Каныш приходил позже всех один, вызывая немалое беспокойство аже Нурым. Но на этот раз Каныш бежал впереди всех с собственным сачком в руках, которого у него до того ни разу не бывало. А дело в том, что в прошлом году произошел случай, запомнившийся на всю жизнь Канышу и всему аулу. Каныш заметил, что все ребята ушли, он остался один и заспешил к юртам. И тут вдруг заметил, что лужица, мимо которой проходил, качается необычно крупными волнами. Подошел поближе - лужица взволновалась еще сильнее - не иначе айдахар-змея-удав или жаин-сом, о которых не раз рассказывала аже в своих сказках. От страха подкосились ноги, но вода успокаивалась, и мальчик, овладев собой и не оглядываясь, помчался к юртам, где стоял брат Абсалям. С разбегу Каныш выдохнул: «Там что-то страшное, пойдем быстрее!» Отец, видимо, собирался куда-то ехать и его большой гнедой стоял на привязи. Абсалям вскочил на коня, с ходу подхватил маленького брата и поскакал туда, куда показывал Каныш. Это была большая, очень большая шука; она тяжело барахталась в быстро мельчавшей под горячим солнцем луже. Абсалям понял, что такую рыбу голой рукой не возьмешь и, прискакав в аул, стремительно подхватил прислоненный к юрте курык* и помчался обратно. Все вышли из юрт, не понимая, почему Абсалям с маленьким братом мотается на отцовском коне, к которому они обычно и притронуться не смели. Абсалям вначале, види-

*Курык - длинная палка с петлей на конце, предназначенная для ловли лошадей

мо, хотел взять щуку на петлю, как жеребенка. Но петля скользила, рыба барахталась, от могучих ударов ее хвоста разлеталась вода, обливая братьев; гнедой с испуга ржал. Стали ждать, когда рыба успокоится. Абсалям велел брату крепко держать гнедого, а сам прицелился и толстым концом курыка ударил рыбу по голове. Рыба снова забарахталась, но после двух или трех подобных ударов успокоилась совсем. Вытащить такую, рыбину тоже оказалось непросто. Пробовали закрутить петлю курыка, но петля, как бы она туго закручена ни была, скользила то к хвосту, то к голове. Пришлось Абсалям снимать сапоги и задеть петлю за жабры. Щука оказалась почти в рост человека. «Пуда полтора» - мысленно определил Абсалям. Надо было грузить на коня, но гнедой, испуганно косясь, пятился от длинного чудовища. Пока успокаивали коня, прибежали сгоравшие от любопытства ребята из аула во главе с Бокешем. Шумная ватага сопровождала Абсаляма с его необычной добычей, змееподобно свисавшей с двух сторон. Главным героем ватаги был Каныш. Он, захлебываясь, рассказывал о том, как увидел и как прибежал в аул и сказал брату Абсалям, как они поскакали, и как он помогал брату... Все высыпали из юрт и окружили рыбу, которую Абсалям сбросил у юрты Имантая-аксакала. Наперебой спрашивали, где поймали, кто нашел, увидел. Каныш был на седьмом небе от счастья. Все обращались к нему за подробностями. Вышел отец, все раступились. На его степенный вопрос, Абсалям рассказал, как было. Отец положил ладонь правой руки наголову Каныша, погладил короткий ежик и ушел в юрту - наступило время намаза. Аже Нурым изрекла: «Хорошее предзнаменование - мой мальчик будет человеком больших удач!» Бокеш поскакал к ближним кочевкам, чтобы пригласить гостей на неожиданное лакомство. Примчались родичи из аула дяди Жамина и дяди Жеина, молодые люди с соседних привалов. Все рассматривали рыбу, удивленно цокали, обращались с расспросами к Канышу. К вечеру у костра собралась молодежь: ели жареную и вареную щуку, рассказывали, что никто, даже из стариков, не помнит, чтобы в Шидерты встречалась такая большая рыба, не иначе, как из низовьев случайно заплывла в половодье и осталась. Потом пошли сказки, небывлицы, шутки, а о виновнике веселого костра Канышжане забыли совсем, и никто даже не заметил, как он тихо ушел в юрту. Свернувшись под теплым купе отца, он думал о том, как черствы, неблагодарны, невнимательны люди, в особенности его братья и сестра. На глаза навертывались слезы. И

Каныш заснул, впервые в один и тот же день детским сердцем познав и сладость славы, и горечь забвенья.

В студенческие годы в Томске Каныш с особым упоением читал Пушкина. Ему казалось, что только теперь он начал постигать тайны русского языка, и только теперь в каждой пушкинской строке находил неожиданно новый смысл. Он, наверное, и ранее читал, но не обращал внимания на ритмически чеканные, полные вещего значения слова:

*«Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Ведешь умы уловлять...»*

Эти стихи вновь всколыхнули воспоминания о случае со щуккой и внезапное предсказание скромной и тихой аже Нурым: «Канышжан будет человеком больших удач!» предстало перед ним в каком-то новом свете. Думалось ему, что надо все силы приложить, чтобы слова аже Нурым сбылись, что он может и должен «уловлять умы», а для этого надо много учиться и много работать. Он догадался, что строки Пушкина навеяны изумительной судьбой великого зачинателя русской науки и, боясь нескромного звучания, он никогда никому об этом не говорил, но волнение, вызванное удивительной ассоциацией между величавой поэтической простотой слов Пушкина и наивной простотой слов аже Нурым, прибавило что-то новое в его веру в свои силы, в свое будущее.

Наконец, Шоптыколь... Юрты на Шоптыколь ставятся надолго и основательно... Месяца полтора, а иногда и два пребывают здесь аулы Сатпая. Природа, кажется, создала на этом джайляу все условия для такого долгого пребывания: за озером в полуверсте поднимаются небольшие сопки, которые в устах степных жителей гордо называются Ниязскими горами, а между сопками - березовые и осиновое мелколесье, берегущее в своей тени густой покров трав, не редяющих в самое засушливое лето. Косяки лошадей, табуны овец с зарей уходят в горы, а днем, в жару, напившись воды, устремляются за озеро, в открытые степи, где на ветру легче спастись от комаров, оводов и ос.

Шоптыколь... Озеро, поросшее камышами... С этим озером связаны самые сладостные воспоминания академика. Досада, неудачи, горе, посещавшие маленького Каныша в это время, кажутся мимолетными и утодают в буйных и многообразных красках, наполнявших его веселое, счастливое детство и отрочество на этой благодатной ежегодной летовке.

День... Солнце уже склонилось с зенита, но жарко. Сегодня аулы Сатпая обедают у Имантая. С утра же Нурым и несколько молодых женщин аула суетятся возле больших казанов, полных мяса; в казанах-поменьше варятся баурсаки. Каныш бежит оповестить, что обед готов. Здесь, на Шоптыколе, не короткий привал, и поэтому каждый из сыновей Сатпая поставил свою юрту на достаточном удалении, чтобы быстро не стоптать траву вокруг, чтобы был простор для хозяйственных надобностей. И пока Каныш добегаёт до аула дяди Жамина, сердечко у него стучит, на лбу появляется испарина. «Ты бы, Канышжан, шел шагом, все равно дошел бы, ты же не собака, чтобы постоянно трусить, высунув язык, - смеется, хлопая его по плечу, толстый и добродушный дядя Жамин. - Хорошо, беги дальше, мы сейчас идем». И бежит Каныш к юртам дяди Зеина. Сюда его особенно тянет, потому что здесь живет брат Абиkey, сын дяди Зеина, только что приехавший на каникулы из Семипалатинска, где он учится русским наукам. Абиkey одет красиво, по-русски и по-русски отпустил волосы. Он разъезжает, гостя по окрестным аулам, мало бывает дома, но когда оказывается у себя, редко остается один, окруженный сверстниками и друзьями, и совершенно не обращает внимания на Каныша, будто забыл своего маленького брата, А между тем совсем недавно, когда Абиkey, нагнав свой аул на Шидерты, пришел приветствовать Имантая-аксакала, после почтительных ответов на расспросы своего дяди, он вдруг заметил стоявшего в стороне Каныша, подозвал его и крепко, порывисто обнял и поцеловал. Ощущение радости было внезапным, сердце мальчика трепетно забилось. Он знает, что сегодня брат Абиkey дома, и кажется, без постоянных спутников-товарищей, наверное, получится так, что он пойдет от самого аула дяди Зеина до своей большой юрты рядом с таким ученым, не похожим на всех других и в то же время таким близким и родным человеком. Каныш бежит быстрее в предвкушении столь небывалого для него счастья.

Подбежав к юртам, он вдруг с досадой вспомнил, что не может зайти в маленькую, крайнюю на пути, юрту, где должен находиться брат Абиkey, это было бы нарушением приличия и отцовских наказов, а должен побыть вначале в юрте аксакала Зеина, приветствовать его, а потом уже, когда тот отлучится, возвратиться в юрту брата. К счастью, когда мальчик вбежал в юрту дяди Зеина и звонко выпалил:

«Ассалаумагалайкем!», вслед за ответом аксакала, раздались голоса, по которым Каныш узнал, что в полумраке большой

юрты собрались чуть не все родственники из этого аула, в том числе и брат Абиkey.

...Сегодняшняя мечта мальчика, казалось, сбылась: он идет рядом со своим любимым, обожаемым братом, тот даже держит его за руку. Но он опять не один - с ним оказался парень, с которым он оживленно ведет непонятную для Каныша беседу, то и дело называя незнакомое мальчику девичье имя. Парень скалит зубы, ехидно щурит узкие глаза и неприятно, трескуче громко, смеется. Только начал было Каныш думать о том, как было бы хорошо, если бы этого ненавистного человека, помешавшего даже в такой удобный момент остаться ему один на один с братом, охватил злой дух из сказок аже Нурым, унес в Нияэскис горы и выбросил там, как вдруг сзади раздался шум. Стая уток, поднимавшаяся из камышей с противоположного берега, подлетала к ним, шедшим вдоль озера. Но почему-то эта стая не соблюдала обычную стройность в полете, а стремительно приближалась, сбившись в какой-то беспорядочный и подвижный клубок. Вдруг от клубка отделилась утка, которую стукнул серый комок, выбросившийся из стаи. Утка, падая, расправила крылья, и только устремилась было к своей стае, как серый комок, отлетевший в сторону, мгновенно превратился в довольно большую птицу, широко развернувшуюся в крыльях, одного взмаха которых было достаточно, чтобы снова превратиться в тот же разящий комок. Второго удара утка не выдержала, она, растерянно поболтавшись в воздухе, упала в прибрежные камыши. За ней в камышах скрылся и серый хищник. «Это ительге, - воскликнул парень и пришел в чрезвычайное возбуждение. Надо его поймать. Видели, что делает с утками, эта на редкость смелая и сильная птица? Бежим быстрее». И они побежали к аулу Имантая, рядом с которым упали птицы. Запыхавшийся парень вдруг остановился и властно велел Абиkey и Канышу быстро принести конский волос, тонкую веревку, палку, и сказал, что сам будет здесь, чтобы не потерять из виду место, где упали птицы. «Только быстро, - кричал он, - а то птица успеет наестся!» Замысел парня оказался простым: он сделал на конце веревки петлю из конского волоса, привязал веревку к заостренной с одного конца палке. Потом он подбежал и спугнул хищницу - утка лежала окровавленной: хищник уже начал раздирать ее. Парень наложил петлю осторожно на утку, между перьями, что бы была незаметной, и затем потянул веревку в камыши и воткнул палку-жердочку в землю. «Теперь пойдём. Я думаю, если она вернется, то это будет редкий улов. Ительге никогда не охотился

вблизи жилья, на виду у людей. Этот, видать, еще молод, самоуверен, нахален, жаден и глуп. Глупый и молодой хищник и приручается легче. Он по глупости должен вернуться к утке, он голоден и только, раздражил в себе желание поест, и нам, Канышжан, тоже пора есть!» - закончил парень свою речь, притянув мальчика к себе и полуобняв. И он снова, как давеча, оскалил зубы и прищурил к улыбке узкие глаза. Но на этот раз ни оскал зубов, ни прищур глаз не вызвали у Каныша того чувства неприязни, какое он испытывал полчаса назад. Наоборот, его улыбка, казалось, излучала что-то доброе, веселое и приятное, и во всем облике его было что-то искреннее и приятательное. У двери юрты Каныш помедлил, пока брат и гость вошли, отошел в сторону и прилег в траву, твердо решив следить за тем, как прилетит ительге обратно к своей жертве, и первым известить об этом изобретательного и ловкого друга брата Абиkey.

Он лежал и смотрел в сторону гор поверх озера, устремив взор Туда, откуда, по его соображениям, должна была вернуться птица. Птица появилась внезапно, широко развернув белые снизу крылья, она покружила над ним и вдруг заговорила по человечески: «Канышжан, давай будем друзьями, сниму с меня петлю, она режет мне ногу!» И, кружась, уходила все выше. «Причем тут петля, она же летает свободно?...» - подумал мальчик. Но тут еще громче раздался голос, но уже не птицы, а аже Нурым: «Канышжан, ты что заснул на солнце? Родной мой, ты же заболеешь?!»

Дома уже заканчивали трапезу. Парень-гость заторопился к озеру, вслед за ним шли брат Абиkey и ватага любопытных мальчиков. Шли и взрослые, которым хотелось позубоскалить над незадачливым гостем, пожелавшим, на их взгляд, поймать такую хитрую птицу таким глупым способом. Но, к удивлению всех, когда шумная толпа подходила к озеру, серая птица поднялась из камыша и, не успев развернуть крылья, упала обратно. Это был ительге. Когда парень подбежал к птице (а Каныш, считавший себя его подручным, не отставал от него), она лежала на спине, ошетилив когти лап и угрожающе раскрыв загнутый, острый клюв, зло и бесстрашно блестя круглыми черными глазами. Парень будто и не обратил внимания на поведение пленницы, снял с себя пиджак, накрыл ее, а потом, завернув, взял трепыхавшую птицу в руку.

Когда толпа во главе с парнем-гостем и Абиkeyем вернулась в юрту Имантая, старшие аула стояли и ждали возле юрты. Подходя к ним парень выдвинулся вперед, перенес на вытя-

нутые ладони обеих рук завернутый в пиджак комок, остановился около Имантая и обратился к нему:

- Уважаемый Имеке! От своего имени и от имени моих друзей, внуков хаджи Сатпая, и ваших детей Абиkeyя и Каныша преподношу вам этот скромный дар аллаха, возжелавшего дать нам, рабам своим, сегодня день удачи, и прошу у вас благословенья! - голос парня звучал негромко, но торжественно.

Так в доме Имантая появилась интересная птица кречет, показавшаяся ительке, доставившая и много забот, и много радости младшим детям Имантая - Бокешу и Канышу. В доме и до этого была ручная охотничья птица, но это был Актана - большой горный беркут с коричневым опереньем, с белыми пятнами на плечах. Это была гордая птица. За ней ухаживал только сам аксакал и никого к нему не подпускал. Беркут с достоинством восседал на специальном насесте - тугуре с закрытыми томагой глазами. И тугур, и томате, а также кольца на ногах - шигиры, поводочки - балахбай, ручной насест - балдак, длинный повод для пеших прогулок - желибау и даже чашечка с ручкой для подачи пищи - саптаяк - все было у беркута Актаны красивой изящной выделки, как у девушки на выданье. Актану в доме любили и немного побаивались: по строгому указанию отца никто к нему близко не подходил - даже легкое прикосновение когтей или клюва птицы, привыкшей к уважительному и серьезному отношению, могло причинить увечье детям. Актана обычно сидел возле юрты, под специально огражденным навесом, и иногда его, когда было мало гостей, вносили в юрту. Важная и молчаливая птица отвечала радостным, ребячьим клекотом на зов Имантая. Аксакал подавал пищу, гладил и расправлял ему перья. Беркут - птица зимней охоты. Все лето аксакал ухаживал за своим питомцем так, чтобы привести его в нужной форме к охотничьему сезону. В июне-июле Имеке откармливал Актану свежим мясом, свежей личью, чтобы беркут сменил оперенье. В это время Актана при каждом движении, при каждом взмахе крыла обильно сбрасывал перья, которые домашними собирались в метелочки для сметывания пыли. В конце июля Актана в холодном блеске свежего оперенья становился особенно величавым и недоступным. Теперь Имантай-аксакал мог готовить птицу к охотничьему сезону, часто прочищал ему желудок и постепенно переводя его на полуголодную диету. С августа он часто с Актаной выезжал в степь, подальше от аула и дрессировал своего питомца, напоминая ему роль в будущей охоте.

Про Актану ходили легенды, и он был гордостью мальчи-

ков Имантая. В ауле Имантая рассказывали, как несколько лет тому назад Имантай-аксакал с помощью Актаны затравил матерого волка. Отец приводил подробности. Та зима была холодной и малоснежной. Имантай и несколько товарищей по охоте въехали на вершину сопки Соран в 10-15 верстах от зимовки. Беркут на руках Имантая забеспокоился, и хозяин, не разобравшись в чем дело, но, чувствуя, что птица волнуется сильнее обычного, решил выпустить ее. Птица взмыла вверх, но вдруг начала пулей падать недалеко от подножья сопки со стороны самого крутого склона. «Это волк» - закричал охотник Галым, известный острым глазом и слывший знатоком охоты с птицей. Всадники поскакали, но склон был настолько крутым, что кони чуть накатились вниз. Видно было, что беркут опустился где-то в верстах двух-трех от подножья, у опушки кустарников, носивших название Бура. По тому, как беркут то и дело бил крыльями, поднимая снежную пыль, можно было судить, что идет трудная и жестокая борьба, и всадники спешили изо всех сил. Гнедой Имантая был впереди, за ним не отставал конь Галыма.

Наконец, всадники достигли барахтающегося на снегу клубка двух жестоких хищников, натравленных друг на друга человеком. Галым соскочил с коня, подбежал к клубку, и алые брызги украсили снег - лишь мгновенье потребовалось для того, чтобы бывалый охотник своим длинным и острым ножом распорол живот хищнику. Раздался торжествующий клекот орла, почувствовавшего, как сопротивление исчезло, и как когтями и всем телом он мягко опускается ниже к земле. Беркут взмахнул было крыльями, чтобы сесть в сторону и дожидаться по привычке из рук Имантая теплого кровавого куска - сердца добычи, но потащил за собой окровавленного волка, оказалось, что когти птицы пронзили глаза и толстую кожу хищника у висков, сжимая на лбу, вонзились настолько глубоко и с такой силой, что потребовалась помощь самого аксакала, чтобы разжать и оторвать их. Хищники в борьбе проложили довольно широкую борозду, протянувшуюся от места борьбы к кустарникам метров на 30-40, и по ней можно было судить, что земной хищник сопротивлялся отчаянно и упорно. И в воображении изумленных охотников эта борьба представилась следующим образом. Когда орел упал на голову волка и вонзил свои когти так, что парализовал самое страшное его оружие - пасть, первые инстинктивные движения ошарашенного серого сводились к тому, чтобы лечь на спину и толчками сильных ног отбросить беркута от себя. Однако беркут не

поддался этому маневру: сильным взмахом крыльев он оторвал волка от земли (ноша была слишком тяжела, чтобы взлететь), не давая ему падать. Это повторялось каждый раз при попытке волка лечь на спину. Попробовал было серый просунуть передние ноги между костистыми лапами беркута и развести их, но рычаг поднятых над головой ног оказался слабым, а стойки словно вросших в голову лап врага казались стальными и совершенно не отвечали на отчаянные усилия волчьих ног. Серый, наконец, понял, что единственное спасенье - это тащить беркута в чащу кустарников, и, зацепив крылатого за кроны порослей, оторваться от него. Так волк упорно тащил на себе беркута к чаще, беркут же, понявший замысел врага, старался частыми и сильными взмахами крыл отбросить его назад. И все же клубок двигался вперед, к чаще, и если бы охотники не подоспели во время, ослепший, окровавленный, но еще не потерявший волю к жизни и борьбе серый мог оторваться и уйти.

...Добыча была удивительной и неожиданной: это был матерый самец, вожак стаи, наводивший страх на всю округу и не раз невредимо уходивший от охотников, травивших его собаками - волкодавами. Имантай-аксакал был очень рад этому событию, но не только потому, что был затравлен такой большой зверь. Он был более рад тому, что в Актане он обнаружил поразительную смелость и хватку: редкий беркут нападает на волка, да еще на такого матерого, как этот. Имантай хорошо знал, что Актана верно и легко берет лисиц, не говоря уже о зайцах, но пускать его на волка он пока и не думал, боясь, что при неудаче птица потеряет былую смелость и уверенность. После случая с волком, слава об Актане пошла гулять по дальним аулам и кыстау. Имантая стали навешать молодые и пожилые люди с самых дальних аулов не только айдабульцев и каржасцев, но и из дальних родов каракесек, тобыкты, канжигалы. Приезжали, как будто приветствовать и пожелать добра почтенному Имантаю, а сами искали глазами Актану, ибо говорить напрямик, что приехали посмотреть на знаменитого беркута, было и неприлично, а хвалить - тем более. Доводили до сведения Имантай-аксакала, что среди приезжавших был даже посланец самого Абая. Это было похоже на правду, ибо этот знаменитый человек знал толк в охоте с беркутом, и потому никто лучше его не воспел прелесть ее:

У подножья охотников сбор.

Всадник с беркутом скачет во весь опор.

Он совет томагу у беркута с глаз -

Беркут крылья расправит, глядя в упор.

Многие из приезжавших, побывав у Имантая, через вторые, третьи лица давали знать, что могли бы купить Актану за любую цену, какую бы он не назначил. Но Имантай молчал и даже повода не давал к разговорам, которые могли бы быть поняты так, будто аксакал при определенных условиях может расстаться с Актаной. Актана был гордостью семьи и аулов Сатпая, это была личная гордость аксакала, ибо он его выловил сам в Баянаульских горах, вырастил, выпестовал, выгучил. И поэтому Актана, как и любой член семьи и рода Сатпая, никакой стоимостной оценке в рублях, лошадях, овцах, верблюдах не подлежал. Вот такая это была птица Актана, и вот почему она столь гордо и величественно восседала в своих кожаных незрячих очках - томаге на высоком насесте возле юрты, и вот почему она в своих личных взаимоотношениях никогда не опускалась ниже самого аксакала Имантая.

...И вот теперь в доме появилась вторая охотничья птица - Ительге. Ительге по сравнению с беркутом Актаной, конечно, представляла всего лишь маленькую серенькую птичку, но эта птичка требовала не меньше труда и внимания, если к ее охотничьему предназначению относиться серьезно. А в аулах Сатпая к охотничьим делам, малым и большим, было принято относиться как к делу достойному настоящего мужчины, как к делу, требующему упорства, внимания, воли и любви. Имантай-аксакал был хорошим знатоком ловчих птиц и приучал к этому своего старшего приемного сына Абсаляма. Однако он осознал, что в обращении с птицами нужен какой-то особый талант, особое умение находить такие живые струнки в душе птицы, чтобы можно было, играя на них, безошибочно добиваться расположения к себе своенравного крылатого хищника. За долгую жизнь Имантай-аксакал имел не одну птичку, были и соколы, и кречеты, и пустельги: и Актана был не первым беркутом в его доме. Среди них, к сожалению, были и такие, в обращении с которыми Имантай-аксакал таки не добился той уверенности, которая одна доставляет охотнику истинное наслаждение и удовлетворение. У аксакала было немало друзей и товарищей, связанных с ним общими охотничьими интересами, но среди них он знал лишь одного человека - истинного знатока ловчих птиц, неповторимого искусника в обращении с ними, т.е., как говорили в степи, настоящего кусябеги, настоящего птицезнатца. Это был дальний родственник Галым, тот Галым, который участвовал в охоте, когда Актана спустился на большого волка.

Ительге третий день сидел на тугуре - насесте, который успели сделать специально для него, и, нахохлившись, зло вращал круглыми глазами, презрительно смотрел на все окружающее. В первый день, когда пробовали посадить птицу на тугур, она не села, а, отскочив к стене, прибилась к ножкам кереге и так лежала долго, пока не раздался страшный кошачий крик. Любопытство большого, добродушного белого кота обошлось ему дорого - ительге, вцепившись когтями одной ноги в кота, когтями другой за кереге, успела притянуть к себе и уже собралась было пустить в ход когти. Еле разняли. Кот после этого долго боялся даже в юрту входить. В семье смеялась над испугом кота. Каныш, поймав своего домашнего друга за юртой, стремительно бежал к дверям, тот яростно вырывался, пока мальчик, заразительно и звонко смеясь, не отпускал его. После случая с котом ительге пересел на тугур, будто испуг кота вернул ему чувство собственного достоинства. Он сидел не шелохнувшись, когда Бокеш или Каныш подбрасывали ему кусочек сырого мяса. Казалось, чувство собственного достоинства настолько овладело им, что он не мог позволить прилюдях, которые пленили его и держат теперь издевательски на привязи, показать свою слабость. Но, когда люди уходили из дому или ночью, когда засыпали, кусочки мяса исчезали. Жизнь брала свое.

Но ительге пришел в семью. Радостно возбужденные мальчики уже который день кружились возле него. И ею, этой птицей, надо было заниматься. Имантай знал хорошо, что каждая птица требует особого отношения, что многое зависит от внутреннего, может быть врожденного такта хозяина, и что общее правило в этом деле может сводиться разве лишь к тому, что говорится в степной народной поговорке:

«Собака служит хозяину от сердца, хищная птица от желудка». Аксакал очень хотел поручить воспитание этой новой в доме птицы Бокешу. Мальчику шел двенадцатый год и пора было его испытать на деле, требующем терпения, сноровки, упорства и душевной теплоты. И в то же время он боялся, что неудача в приручении птицы может убить у мальчика не только интерес к такому благородному, увлекательному делу, как охота, но и заронит семена привычки к неудачам. Первое серьезное дело должно обязательно кончаться удачей. И, когда он посоветовался с Галымом, тот, внимательно осмотрев птицу и расспросив об ее поведении за эти дни, сказал, что Бокеш, которого он хорошо знает, вполне справиться с этой задачей. И ительге перешел на попечение Бокеша, заботы кото-

рого, правда, теперь сводились к точному исполнению указаний отца по уходу за птицей. И хотя по неписаному степному правилу, приручением и воспитанием ловчей птицы должен был заниматься один человек, в семье Имантая это правило в данном случае было нарушено. Дело в том, что Каныш настолько был влюблен в своего пленника, что все время торчал возле птицы. Бокеш вначале запрещал ему подходить и трогать птицу, но, поскольку запреты его не возымели действия, махнул рукой. Отец также не потакал на этот раз желанию Бокеша отстранить брата от птицы - никто лучше аксакала не понимал, каким трепетным и отзывчивым было сердце у этого маленького младшего сына. Каныш же считал, что он имеет больше прав на птицу, чем Бокеш, ибо он участвовал в ловле ее, когда Бокеш ушел в горы, затеяв с ребятами какую-то игру. И то, что уход за птицей был поручен Бокешу, вовсе не означал, что Каныш не должен любить эту хорошую птицу и ласкать ее, а при случае подать корм, в особенности, когда Бокеш увлекался играми и пропускал время подачи пищи, хотя это бывало редко.

Ительге, к счастью, оказался довольно покладистым. Он хорохорился и выражал свой дикий нрав недолго. Прошло всего две или три недели, как он брал из рук мальчиков пищу, привык к тому, что ребята вперемежку носили его на руках. Посадив ительге на траву, дети отходили в сторону, быстро разматывая тонкую веревку, связанную с поводком. После нескольких попыток улететь, птица успокоилась и, кажется, поняла, что от нее требуют: она на зов «хол-хал!» - подлетала и садилась на руку. Правда, вначале она подлетала на приманку, а потом уже привыкла делать это и без приманки. Теперь ительге сидел на тугуре, добродушно вращал глазами и немедленно отзывался на голос ребят нешироким ласковым взмахом крыл и радостным перебором ног на сиденье. Птицу кормили обильно, и, как заметил Имантай, она начала жиреть. Кажется, наступила пора сбавлять корм и обучать охоте. И здесь началось самое интересное. Необходимо было переходить на акжем и прочищать птице желудок. Ребята ежедневно, пыхтя, возились над приготовлением акжем, который представлял собою свежее мясо, тщательно размятое в теплой воде так, чтобы была вымыта, выжата кровь и остались лишь волокна мышечной ткани. Мясо при этом теряло свой кровавый цвет, белело и поэтому носило название акжем - белый корм. Ребята сильно расстраивались, когда приходилось совывать в маленькую пасть ительге рвотное (обычно чистый кусочек

войлока, обернутый салом), и птица начинала конвульсивно и мучительно изрыгать содержимое своего желудка. Круглые глаза становились печальными и влажными, казалось, птица плачет. Мальчики отворачивались друг от друга, стыдясь своей слабости. Птица нервничала и хохлилась, плохо отзывалась на зов: после обильных порций свежего мяса, ей не нравился акжем, который давали к тому же в малом количестве. Тогда перед птицей стали класть куски жил. Каждый кусок был такой величины, что невозможно было проглотить целиком, и поэтому приходилось тянуть, теребить, рвать, пуская в ход когти и клюв, пока попадали в рот крайние волокна от жил. Трудясь над таким «кормом», ительге забывал о полуголом желудке, сбавлял вес и постепенно приобретал охотничью форму. Через несколько дней птица привыкла к «диете», снова взбодрилась, снова весело и радостно отзывалась на зов мальчиков. Теперь можно было обучать охоте. Ительге имел широкую и сильную грудь, и, охотясь на утку, он, как правило, сбивал ее ударом груди и уже на земле, не давая жертве прийти в себя, приканчивал ее, вырывал острым загнутым клювом горло. Важно было, чтобы ительге, во-первых, умел нападать на уток так же смело, как когда он находился на свободе. Для этого необходимо дать понять птице, что хозяин поощряет такое действие. Положили перед ительге мертвую утку - птица встрепенулась, огляделась, как будто хотела узнать, не шутят ли с ней, и быстро пересев на бездыханное тело пернатой, ухватила клювом за горло и стала вырывать его. Никто не мешал, ительге спокойно и деловито насыщался свежей дичью, только изредка летели перья. Правда, после этого пришлось прочищать птице желудок и снова сажать на «диету». Теперь мертвую утку, недавно пойманную и теплую, клали в степи в траву и шли, держа ительге на руках до тех пор, пока тот издал на замечал утку и не начинал волноваться и проситься лететь. Птица села на жертву и повторила то же, что и в юрте. Еще лучше получилось, когда птицу натравили на живую утку, пойманную на петлю и пущенную с подрезанными крыльями. Здесь имитировалась почти настоящая охота. Предстоял самый ответственный момент. Надо было выпустить птицу впервые после пленения к свободному полету: если она почувствует отсутствие поводка, почувствует, что может улететь совсем (а это бывает часто), то улетит, и прощай, ительге! Прощай, напрасный труд ребя! Если же она сядет на подставленную утку и не будет грозить, когда подбегут ребята, это будет означать успех. Мальчики были на седь-

мом небе от счастья, когда ительге, взлетев довольно высоко, пудей упал на утку и деловито начал разрывать и поедать. Ребята подбежали и, как велел отец, разрезав острым ножом живот утки, подали нервничающей птице внутренности, особенно любимое хищниками лакомство - сердце. Но ребята так и не смогли научить ительге при подходе хозяина садиться от жертвы в сторону, как это делал Актана. Маленький и жадный ительге не мог подняться до высот благородства, движимого царем птиц - орлом. Словом, за каких-нибудь полтора месяца мальчики были готовы к настоящей охоте со своим ительге. Но тут оказалось еще одно препятствие - прежде обучали ительге охоте пешком, а надо было, чтобы ительге не боялся лошади, ибо птица в пылу охоты может нагнать и свалить свою жертву на таком расстоянии, что пешком не быстро дойдешь. Однако, к счастью, присутствие верхового коня не внесло особых изменений в поведении ительге, уже привыкшего к постоянно торчавшим возле юрты лошадям.

Шоптыколь кишмя кишел водоплавающей птицей. К вечеру вокруг озера то там, то тут поднимался шум - это нарочно встревоженные птицы тучами вылетали из озера. И тут надо было успевать вовремя выпустить сокола или кречета, чтобы стаи не ушли далеко, пока утку или гуся можно сбить недалеко от берега, сколько уже времени с интересом и завистью со стороны наблюдали мальчики Имантая, как отроки и юноши своего и соседних аулов забавлялись соколиной охотой, а после улова почтительно подъезжали в юрте Имантая, приветствовали его и, отвязав с правой задней части седла, с канжига, дичь, сбрасывали у очага (ибо не полагалось, охотясь возле чужого аула, не заехать к аксакалу, не приветствовать его и не поделиться уловом) и уезжали, гордые своей удачей.

Ительге Бокеша и Капыша оказался на редкость удачливой птицей. К вечеру, когда ветер утихал, и над озером нависала желанная тишина, сверстники ребят бросались в озеро и, вплавь добираясь до утиных стай, тревожили их так, что они взлетали. И хорошо было, когда утки летели в ту сторону, где на своих конях, с ительге наготове находились ребята и нетерпеливо ждали того мгновенья, когда они выпустят заволнованнейшего хищника. Однако и утки тоже были себе на уме, они часто взлетали и садились в озеро тут же, рядом, ибо над водой ительге был бессилен, сбитая утка падая в свою стихию, в воду, отделявалась, как правило, лишь легким испугом. Надо было, чтобы стаи летели в степь, и чтобы утка была сбита на суше. Поэтому ребята устраивали шум в нескольких

местах озера, чтобы стаи не садились обратно в воду. Вот Бокеш выпустил ительге, он скрылся, достиг стаи, взбудоражил ее, сбил утку и вместе с нею в траве. Мальчики скачут во весь опор. Иногда это может оказаться на расстоянии версты и более. Надо спешить и зорко смотреть за точкой, где скрылся, упал хищник со своей жертвой, ибо можно сбиться и потерять птиц. Так мальчикам удавалось за вечер привязывать к канжига до двух-трех уток. К сожалению, бывали вечера, когда утки, как нарочно, обходили жаждавших их приближения маленьких охотников: обходили так далеко, что пускать ительге было рискованно. Наступали сумерки и мальчики возвращались ни с чем.

...Когда была сбита первая утка недалеко от юрты дяди Жамина, мальчики, гордые своей удачей, принесли и с небрежной почтительностью бывалых охотников положили ее у очага дяди Жамина. Жамин, довольный своими племянниками, на другой день зарезал двух баранов, созвал весь аул и устроил той в честь того, что дети брата Имантая становятся мужчинами.

...Позже, уже в послевоенные годы, Каныш Имантаевич читал в дневниках своего покойного учителя академика М.А. Усова: «К вечеру я, Абиkey и Бокеш ездили на юг от Сарымсакты за зайцами: имея пять собак и одного ительге, взяли трех зайцев». Это было в 1921 году, когда профессор Томского технологического института М.А. Усов приехал с семьей на отдых летом в степь, и юноша К.И. Сатпаев впервые познакомился с ним. К этому времени брат Бокеш стал двадцатипятилетним жигитом, слыл известным для окрестных аулов охотником и птицевзятцем - кусбеги. Ительге был тот же самый, он в семье Имантая прожил чуть ли не пятнадцать лет и немало наловил Бокешу уток, гусей и зайцев. Нахлынули и другие воспоминания. В каждом казахском ауле имелась чуть не свора собак, которые целыми днями болтались между юртами, и с которыми постоянно играли дети. Собаки в аулах были только двух пород. Или это были грузные борзые, которые берегли стада от волков, или поджарые гончие, используемые в травле зайцев и лисиц. При охоте с беркутом и другими ловчими птицами последние помогали выгонять зайцев из лошин, буграков, из лесных и кустарниковых чащ в открытую степь, где птице легче было брать свою жертву.

Любимый друг маленького Каныша Алыпсок был большой, широкогрудый и широколобый, белый с черными подпалинами пес-волкодав, не раз помогавший отцу в травле волков. В

раннем детстве Каныш любил ездить на этом добродушном волкодаве верхом, как на коне. Между тем рассказывали, как смело нападает Алыпсок на волка. Он был грузен и не мог настигнуть волка в прямой погоне, но если выгнать серого навстречу или наперерез - безрассудно шел в атаку на любого матерого зверя. Хватка в челюстях Алыпсока была не менее мертво, чем у волка. Но среди собак, сопровождавших русского профессора и братьев Каныша, умного и преданного, доброго и храброго Алыпсока, уже не было. Где-то в 14 году поздней осенью, в сумерки стареющий пес ринулся на волков, подступивших к овечьему гурту аула, и его, беззубого и слабого, утащили волки. В том году в ауле не оказалось ни одной собаки, равной или близкой по смелости Алыпсоку. Когда старая дерзко пошла в атаку, другие собаки отстали от нее и лаяли лишь издали, а верховые, подскакавшие вслед за старым храбрецом не успели настигнуть скрывшихся хищников. «Безумству храбрых поем мы песню!» - прочитал Каныш после революции у Максима Горького, с книгами которого он подружился в это время (и, как оказалось, навсегда) и сразу вспомнил своего Алыпсока. Вспомнил также рассказы отца о том, как на аул далекого предка в отсутствие мужчин напали враги. Глава рода, глубокий старик, смело встретил врагов и, будучи поднят на пику, сказал: «Враг, я умираю, - но умираю желанной смертью, сразюсь с тобой и находясь над тобой!» Такой же желанной и героической была гибель Алыпсока. И хотя врожденный такт не позволял ему высказать вслух эту ассоциацию (ибо внешне применение хрестоматийного стиха буревестника революции к судьбе собаки могло выглядеть смешно и даже, возможно, кощунственно), однако внутренне он не находил свое воспоминание бестактным, так как он считал, что храбрость и смелость при исполнении долга имеют одинаково возвышенную природу как для человека, так и для его друзей, подобных Алыпсоку.

- Слушай, - говорил маленький Каныш своему ровеснику и неразлучному другу Жумацу, - ты слышал когда-нибудь, как овцы и козы разговаривают между собой? Не слышал? Жаль. Надо быть где-либо рядом, чтобы они не заметили тебя. При людях они не разговаривают. Надо набраться терпения, сидеть долго, не двигаясь, и прислушиваться. И тогда начнешь различать слова. Я вчера вечером лег возле той телеги. Лежу, молчу. Подошла серая козочка, потерлась о переднее колесо, заблеяла «Ме-хе-хе!» Подошла черная овца, потерлась о заднее колесо, тоже заблеяла, но грубее: «Мя-хя-хя!» Стояли.

терлись, разнюхивали друг друга. Вдруг слышу слова. Я чуть не умер со смеху. Знаешь, что овца сказала? Она спрашивает у козы:

*У тебя во рту от полыни горчит?
(Коза затрясла бородкой в знак согласия).*

И у меня во рту от полыни горчит.

Но только одно не пойму:

Отчего твой хвост постоянно вверх торчит?

Коза замехехекала и вдруг тоже настоящими человеческими словами заговорила:

Ты правду говоришь, мой друг,

Мы же вместе пасемя вокруг.

Вот только и мне невдомек:

Отчего у тебя не хвост, а курдюк?

И лошади тоже разговаривают между собой. Вот недавно, помнишь, как большая пегая кобыла захромала и несколько дней на ночь оставалась со своим вороным жеребенком у озера, недалеко от юрты? На второй день, я спрятался в камышах, комары покою не давали, но я все же набрался терпения, лежал и внимательно слушал. Жеребенок резвился, бегал, а матери, видимо, это не очень нравилось. Пошиплет траву, поднимет голову в сторону жеребенка и фыркнет громко. Жеребенок подбежит, а она потише продолжает «фр-фр-фр!» Малыш постоит, послушает, подойдет поближе и ласково мордочкой уткнется в вымя. И в это время она, пегая, точно моя аже Нурым, начинает наставлять. Я прислушивался, прислушивался и начал различать слова, правда, с большим трудом. Лошади как-то фыркают отрывисто-отрывисто, а губы у них толстые, большие, поэтому они слова выговаривают хуже, чем овцы и козы, так что не сразу разберешь... И вот жеребенок, знаешь, сосет, а пегая поучает и поучает:

Ах ты, мой сосунок,

Длинноногий гурачок!

Не бегай от мамы,

Достанешься волку.

Схватит за холку,

Свалит на бочок,

Съест с потрохами!

Не бегай от мамы!

А жеребенок оторвался от вымени, прыгнул в сторону, выгнул длинную шейку, вытянул мордочку и заржал звонким колокольчиком. Слова получились ясней, чем у мамы:

А я от волка убегу

*И к тебе прибегу.
Волк побойтся
К тебе подступиться!*

И, знаешь, после ответа малыша, пегая заржала растроганно и нежно, как будто хотела обнять вороного сыночка и прижать к груди. Я пожалел, что у пегой впереди не руки, а ноги с копытами. А жеребенок снова ткнул свою мордочку к соскам матери. Вот как это было!

Жумаш не знал верить или не верить? Не верить вовсе было невозможно: Каныш ему никогда не говорил неправду, никогда не обманывал. А верить тоже было трудно - сколько бы он терпеливо не вслушивался в блеяние овец и коз, ржание и фырканье лошадей, различить человеческие слова ему не удавалось. «Ты нетерпеливый» - говорил ему Каныш, - надо уметь долго слушать, надо уметь не обращать внимания ни на что другое, тогда постепенно станешь различать слова». Жумаш так и не смог уловить хотя бы одно слова из звуков, которые издавали домашние животные, пока, наконец, не пришел к убеждению, что его друг Каныш имеет особый слух, особый дар понимать язык животных.

Жизнь на Шоптыколе продолжалась... В верстах 7 - Караколь - большое озеро - совсем не похожее на Шоптыколь. Громадная для детского зора его гладь в маловетренные дни слегка рябит, а при сильном ветре дышит весенним верблюдом, яростно выбрасывая пену на берега.

Караколь - излюбленная родовая летовка - джайляу рода Шормана, одного из самых влиятельных родов не только среди каржасцев и айдабульцев, но и во всем Среднем Жузе; рода, притязавшего на соперничество с самими торе-чингизидами. Не голые берега, не приедающаяся глазу, скучная, ровная гладь этого озера пленили могучий род Шормана. Караколь, как никакое другое озеро в степях, был удобен для водопоя и отдыха скота. На Шоптыколе, например, утолив жажду, стараются быстрее уйти подальше от озера, ибо стоит приблизиться к нему, как из болотной тиши его камышовых зарослей облаками поднимаются комары, налетают осы и оводы. Напротив, открытые всем ветрам берега Караколя в самое жаркое время дня кишат Шорманевским богатством: лежат в дремوتной жвачке, наслаждаясь водной прохладой большого озера, овцы и козы, часами стоят в воде лошади, ленивыми взмахами хвостов рассыная над собой брызги, во влажной завесе которых радугой отражаются солнечные лучи. Ни в одном другом каржасском или айдабульском ауле скот так быстро не пагуливал

тело, как в аулах Шормана. Этим Шормановы обязаны озеру Караколь. Поэтому к озеру и окружающим его урочищам не подступала ни одна живая душа со своим скотом, тем более юртами, кроме представителей рода Шормановых. Шормановы давно привыкли к похвалам, источаемым их роду льстивыми степными златоустами, и среди этих похвал было четверостишие, посвященное озеру Караколь:

Караколем владеет

Шорманова род.

На караколе гуртам потеряли счет.

Сорок тысяч коней утоляют в нем жажду,

Отражаясь зеркально в прозрачности вод.

Аулы Шормана ставили свои юрты с восточной подветренной стороны озера, чтобы западная, неветренная сторона была свободна для скота. Аулы эти не были похожи на те, которые видел маленький Каныш, когда ему с отцом приходилось ездить в гости к родственникам и близким из дальних аулов. Как правило, лишь отдельные состоятельные люди имели белые юрты, потому что для белых юрт аул должен был иметь и соответствующее количество белых овец. Если имелась в том или ином ауле белая юрта, то она резко выделялась на фоне окружающих серых и черных юрт. В аулах Сатпая в белых юртах жили только Имантай-аксакал и дядя Жамин. Не то было в аулах Шормана. До десятка, а то и более восьми-двенадцати-шестнадцатистворчатых красавиц-юрт белели издалека. А в некотором отдалении от них, ближе к подножью гор, чернели: маленькие юрты тех, кто пас Шормановский скот и прислуживал в белых юртах Шормановским отирыскам. Молодежь этого знатного рода училась в русских гимназиях и, приезжая на лето, блистала форменными костюмами и фуражками. Девушки здесь щеголяли в шелковых платьях, бархатных камзолах, золотых перстнях и сафьяновых сапожках. И даже дети в этих аулах привыкли к тому, что они отличны от других и в знак этого должны ходить в дорогой одежде и обуви. Каныш часто приезжал на Караколь с отцом (отец не мог жить, не повидав своего друга и наперсника Садуакаса), однако с ребятами своего возраста из аулов Шормана сходилась плохо - дети здесь казались ему прилизанными, прищипанными и малоспособными к настоящим детским играм.

Коновязь - бельдеу находилась от юрты Садуакаса на довольно большом расстоянии. Так было принято в аулах Шормана - они ревностно следили за чистотой вокруг своих белых юрт. Гости, почитаемые хозяином дома, прямо подвезжали к

юрте, у которой один из молодых жигитов почтительно помогал гостю сойти с коня и отводил последнего на бельдеу. Гости не менее почтительные сами подъезжали к коновязи, привязывали коня и подходили к юрте пешком. Имантай-аксакал будь он один или со спутниками, всегда подъезжал прямо к юрте.

В просторной юрте Садуакаса или Сакена-ага, как привыкли называть его окружающие, завешенной, застеленной драгоценными коврами, обставленной красивыми сундуками с разноцветной инкрустацией, всегда было много гостей, полужележавших на мягких расшитых матрацах - тосениш, положенных поверх ковров, опираясь локтями на громадные подушки. Это были, как правило, солидные и пожилые люди. Но все они при появлении Имантая-аксакала расступались, давая ему почетное место. Маленький Каныш понимал, что его отец - человек уважаемый и гордился этим. Он входил вместе с отцом, взросло приветствовал Сакена-ага и его гостей) быстро уходил из юрты. Но за юртой ему, чуждавшемуся и стеснявшемуся разодетой Шормановской детворы, становилось скучно, он тихо возвращался, пробирался вдоль стены и садился сзади, рядом с отцом, прислушиваясь к степенному разговору взрослых.

До детского разума мальчика не вполне доходил смысл разговоров, ведущихся в юрте, однако он начал понимать, что здесь, в гостях у Сакена-ага, всегда собирались люди солидные; аксакалы, аткаминеры, главы окрестных родов и аулов. Он чувствовал также, что здесь решались очень большие, очень взрослые дела. Он поражался тому, что каждый из аксакалов, собравшихся здесь, когда ему представлялась возможность высказаться, отрывался от подушки, садился прямо и мог говорить долго, складно, перемежая свою речь стихами, пословицами, поговорками, называя имена далеких и близких предков. К тому же каждый аксакал играл своим голосом, то повышая, то понижая его, говорил так, что ни один из слушающих не мог быть невнимательным, хотя лица всех оставались нарочито неподвижными. Мальчик приглядывался поочередно к аксакалам и все же по движению локтя, подушки, по еле заметным изменениям на лице узнавал отношение каждого из них к речи говорящего и даже угадывал, кто из них будет говорить следующим. Мальчик замечал также, что все собравшиеся с наибольшим почтением слушали Сакена-ага и Имантая-аксакала. Их речи, как правило, были завершающими. Благодаря тому, что мальчик в ауле Сакена-ага не улекался

детскими забавами и скромно прятался за широкую спину своего отца, он рано знал в лицо и по имени почти всех знатных людей, вершивших дела айдабульцев, каржасцев и других близких родов. Беседы велись, как правило, за кумысом. Затем следовал чай с баурсаками. Угощение заканчивалось обильным бешбармаком из свежей баранины.

Дети обычно в таком важном кругу аксакалов отсутствовали. Маленький Каныш, наверное, был исключением. Никто не обращал внимания на кенже-несмышлениша стареющего Имантая-аксакала, лишь отец понимал, как этот лобастый мальчик вглядывался, вслушивался во все с любопытством, мало присущим детям его возраста. История нам сохранила сведения о том, как отец великого Абая. Кунанбай, ранее всех определил природную даровитость своего в будущем знаменитого сына и способствовал тому, что Абай еще подростком выступал при решении вопросов межродовой «политики» с блестяще аргументированными, остроумными речами, удивляя аксакалов, знавших толк в степном витийстве. Может быть, и Имантай-аксакал втайне лелеял мечту о том, как его кенже Каныш со временем будет блистать остроумием и завоюет в степях большее уважение, чем этого

смог достичь его старый отец. И, может быть, он умышленно не мешал своему сыну прятаться за его спиной и внимательно слушать серьезные разговоры солидных аксакалов.

Иногда Сакен-ага оказывался один в юрте. Отец, по-видимому, приезжал заранее условившись. В этих случаях суровое лицо его становилось улыбочивым, глаза начинали смеяться. Отец говорил что-то шутовское. Сакен-ага отвечал, смеясь. К шуткам присоединилась и Зейнеп-байбише, старшая жена Сакен-ага, всегда находившаяся в старшей юрте (у Сакен-ага была малая юрта, в которой жила его младшая жена). Шутки продолжались. Зейнеп-шешей справлялась о здоровье Нурым-байбише.

- Слава-богу, здравствует, - отвечал с лукавой и непривычно игривой нежностью в голосе отец, - она ведь у меня одна. Именно одна. А не одна из двух, и не старшая из двух, а слава богу, единственная. Единственной быть приятнее.

- Имеке, - отвечала, широко и ехидно улыбаясь Зейнеп-шешей, - ты же мужчина, мог бы немного сдержаться. Я спрашиваю о здоровье моей сверстницы и подруги Нурым. Ты об этом бы и говорил, а не старался вызвать жалость. Нет ничего печальнее, когда мужчина старается вызвать жалость. Старший нашего очага, присутствующий здесь, имеет широкую натуру

и у него здравствуют, слава богу, обе богом нареченные жены. А тебя бог наказал, забрав к себе незабвенную Алиму. Наказал не только тем, что оставил без молодой жены, а еще и тем, что усилил постоянно живущую в тебе черную зависть, вот она и гложет тебя. Ты бы уж не приезжал, чтобы не казниться развешивающей твою душу завистью.

- Имеке, - вмешался, громко смеясь, Санен-ага, - давно тебе я говорил, не трогай этих женщин. Видишь, что наговорила, ты слово - она десять. Да ядовитые слова!

- Сакен, ты мне отдай эту старшую на неделю. У меня она шелковой станет. Ты же распустил их.

- Не дай бог, - снова ввязалась, громко смеясь, Зейнеп-шеше, - с таким черным злым стариком и часу не останусь. То-то бедная Алима навсегда ушла, а несчастная Нурым еле влачит существование.

Канышу показалось, что о его покойной матери и здравствующей аже Нурым говорят непочтительно, но высказать это старшим вслух не посмел. Покраснел, отвернулся и хотел было выйти, но Зейнеп-байбише заметила это.

- Имеке! Имеке! Хоть на старости лет перестал бы ехидничать. Видишь, Канышжан застеснялся... Мальчик мой, айналайын, подойди ко мне. Я тебе вкусное припасла, сейчас угощу.

- Имеке, на самом деле. Женщину никогда не переспоришь, ветер не укротишь - пока сами не перестанут. Мне вчера привезли интересную книгу, газеты.

Каныш знал: у Сакен-ага книг не меньше, чем у его отца. Кроме того, Сакену-ага еженедельно привозили газеты, отец иногда брал их к себе и читал дома. Имантай-аксакал и Сакен-ага могли бесконечно беседовать о написанном в книгах или газетах. Потом, повзрослев, Каныш точно определит круг учебных, книжных интересов своего отца и его друга, узнает и о том, что они со своими книгами и газетами, со своими беседами на непривычные в степях темы выглядели чуть не белыми воронами в обычной для них среде. Досужие аксакалы нет-нет да и говорили, что пора бы Садуакасу и Имантаю, перешедшим возраст пророка Магомета, иметь в руках единственную книгу - священный коран, читать только ее, не изменять ей; сожалели о том, что бесовское наваждение, захватившее смолоду, не покидает их и приходили к обычному для суеверных и невежественных людей выводу, что это не к добру. На эту же тему и в том же направлении острили и более молодые. Пока же маленький Каныш лишь чувствовал, что его отец

и Сакен-ага близки именно потому, что у них у обоих много книг, и что они оба могут долго читать и долго говорить о том, что написано в этих книгах, и что это, может быть, самое главное в их взаимоотношениях. Он также чувствовал, что отец и Сакен-ага этим и отличались от всех других аксакалов, которых он знал и видел, часто сопровождая отца. Мальчик гордился своим старым отцом и его другом Садуакасом, Сакен-ага.

Каныш начал читать Пушкина в семинарии. Судьбы героев пушкинских произведений, в особенности пушкинской прозы, волновали его воображение. Волновали потому, что многое ассоциировалось с жизнью и событиями в степях. Например, ему казалось, что отец, человек менее богатый и поэтому менее знатный, чем Шормановы, чем-то напоминал старика Дубровского. Правда, Сакен-ага вовсе не был похож на деспотичного, невежественного и грубого Троекурова, но, кроме Сакена-ага, в роду Шормановых были и другие, более богатые, более могущественные, более сложившиеся своими тысячными табунами. Отец чуждался их и бывал в их юртах лишь изредка, когда был приглашаем по тому или иному случаю, обусловленному необходимостью взаимных угодий по законам соседства. И эта холодность во взаимоотношениях с самыми богатыми отпрысками Шормана, казалось, была не случайной. Лишь немногим из Шормановых было дано обладать тактом и человечностью Сакен-ага и редкие из них вели себя так, чтобы к месту или не к месту не подчеркнуть свое степное превосходство. До ушей юноши Каныша доходили и разговоры о том, что некоторые из многочисленных отпрысков Шормана бывали, причастны к событиям, довольно обидным для Имантая и его близких. В степях обиды плохо забывались, они переходили от отцов к детям, и бесконечные межродовые, межаульные распри чаще всего и были связаны с чересчур высокими счетами, выставляемыми за случайно или неслучайно ущемленное самолюбие. Однако отец никогда не говорил Канышу об обидах, причиненных ему или его близким кем-либо из людей, среди которых он вращался. Позже, став уже зрелым человеком, Каныш Имантаевич оценил эту редкую для степного быта того времени особенность в поведении отца: аксакал просто не хотел, чтобы помыслы сына были заняты тем, что он, отец, относил к пустой и вредной суете от наивности и невежества. Каныш Имантаевич отдавал должное природному уму отца. Но он также понимал, что к этим разумным и трезвым выводам отец мог прийти только от муд-

рости, которая устоялась в нем при постепенном слиянии того, что дано природой и жизненным опытом, с тем, что приходило ему от книг, которые он читал и обсуждал со своим неразлучным другом Садуакасом.

И все же... даже детский глаз замечал, что многочисленные белоснежные юрты семи аулов Шормана с богатым внутренним убранством, выхоленные кони, посеребренные седла и сбруя, красивые фазтоны у белых юрт, одежда из богатых тканей - все, казалось, служило тому, чтобы подчеркнуть, что все, кто из рода Шормана, являются мурзами, господами от рождения. Отец Сакена-ага - Муса, сын Шормана, основателя рода, был легендарной личностью. Он был первым человеком в этих местах, кто стал царским полковником, приводя в трепет степных жителей расшитым мундиром, густыми эполетами, высокой папахой. Такого высокого чина в окрестных степях не достигал никто ни до, ни после него. Такой чин имел только внук хана Аблая - Чингиз. Но Чингиз был царевичем, султаном, которому на роду написано быть в больших чинах у белого царя. Муса же происходил не из знати, и все, чего он добился, относили к его личным достижениям. Царский подполковник умер за десять лет до рождения Каныша. Он лежал невдалеке от кыстау аулов Шормана и Сатпая, в родовом кладбище под дорогим отполированным до зеркального блеска камнем-сундуком, камнем-мрамором, привезенным из какого-то далекого-далекого царского города. Покой его берегли невиданные в степях стальные решетки - ограда с затейливыми узорами. Легенда гласила, что все это прислал лично белый царь своему верному слуге. На самом деле, как потом узнал Каныш, решетки и надгробный камень из мрамора были изготовлены на Урале, в Екатеринбурге по заказу наследников Мусы. В окрестных степях уже ходили легенды о святости Мусы, и многие обездоленные совершали паломничество к праху его, прося заступничества перед богом и людьми.

Муса был, действительно, недюжинным человеком. Когда султан Кенесары поднял в степях смуту, надеясь стать ханом, отторгнув народ от России, Муса был один из тех, кто почувствовал несбыточность и вредность султанских затей. Он проявил большую изворотливость, оставляя роды, на которых распространялась его власть, в стороне от движения Кенесары. Он был довольно просвещенным человеком с прогрессивными взглядами на значение науки и образования, и сохранились документы, в которых Муса последовательно ставил перед царским правительством вопрос об открытии школ, о

распространении светского образования в степях. Он высоко ценил своего племянника великого путешественника и ученого Чокана Валиханова. Вместе с тем, народ также догадывался и о том, что табуны лошадей, золото, роскошь, власть концентрируются в одних руках не просто по воле божьей и тем более не на основе правды, добра и справедливости. У Садуакаса хранились мундиры полковника, много различных ценных вещей, начиная от подарочных халатов, серебряной и золотой посуды, кончая дорогими безделушками. Садуакас гордился отцом и любил показывать его вещи, любил подавать кумыс в дорогих чашах, оставшихся после отца. Из такой чаши в 1914 году пил однажды кумыс знаменитый молодой поэт Султанмахмут Торайгыров, приходившийся родственником Садуакасу по линии одной из жен и приехавший навестить старого зятя. Посещение это вдохновило двадцатилетнего поэта на едкое стихотворение, заканчивавшееся словами:

*Смотрел и гумал:
в чаше этой драгоценной
Не блещут ли слезы бедных
за кумысной пеной?*

А младший брат Мусы - Мустафа - был навеки пригвожден к позорному столбу в песне знаменитого композитора и поэта Жаяу Мусы (Пешего Мусы), которую распевала вся степь от Каспия до Алтая:

*То белы, то красно-алы ситцы-суса.
Создают безлошадных не небеса
Мой резвый конь под Мустафой Шормановым,
Оттого я и прозван «Пеший Муса».*

Было от чего задуматься взрослому Канышу. Слишком переплелись взаимоотношения между аулами Шормана и Сатпая. Сатпай, сподвижник и приближенный Шормана, был бием (судьей) при Мусе. Имантай оставался бием при бессменных волостных правителях Шормановых. Старшая любимая сестра Газиза отдана замуж за одного из Шормановских отпрысков. Родство через женщин укреплялось и ранее. И все же настороженность Имантая-аксакала, человека гордого от природы, передавалась на братьев и детей. Эта настороженность была связана, главным образом, с тем, что внешне складывалось впечатление, что богатство, удача постепенно покидают аулы Сатпая. Большие табуны Сатпая были поделены между сыновьями. И как-то стало так, что к рождению Каныша отец имел только средний достаток. Должность же бия была почетной, без установленного властями постоянного материаль-

ного вознаграждения. Несколько большим достатком обладал прижимистый Жамин. Дядя Зеин вообще считался неудачником. В молодости он был человеком, любившим риск и пускался в торговые махинации, кончавшиеся, как правило, одними убытками. И в детские годы Каныша семья Зеина еле сводила концы с концами, по существу, перейдя на иждивение к дяде Жамину. Говорят, что про Зеина ходило даже ехидное двустишие, пущенное одним из акынов-острословов:

*Не за родовое занятие взялся Зеин,
За что и наказан Сатпая сын.*

...Каныш постепенно убеждался, что многочисленные представители степного феодального клана Шормановых, как и должно было быть, неоднородны по своим стремлениям, уровню развития, душевному складу. Было много, ох как было много тех, кто вел просто паразитический образ жизни, блаженствуя и бездельничая за счет общего Шормановского достатка. Их стремление к роскоши, их постоянный и неумный потребительский настрой вынужденно удовлетворялись власть имущими рода ради сохранения престижа клана степных господ. Заправляли же кланом в основном те из шормановцев, кто оставался одержимым жаждой власти, обогащения, продолжая в этом отношении дело своих именитых предков, хотя размах Шормана и Мусы их сыновьями и внуками был потерян, подобно тому, как горьковские Артомоновы успели измельчать уже во втором поколении. Но, благодаря тому же богатству и достатку, многие из Шормановых приобщились к образованию и просвещению. И это не могло не наложить отпечатка на нравственное развитие тех членов разветвившегося клана, кто природой был предрасположен к гуманности и человечности. Из четырех сыновей полковника лишь друг Имантая-аксакала, Садуакас, выделялся своей необычной для степей интеллектуальностью, широтой умственных интересов, тягой к сближению с умными, даровитыми людьми. В его суждениях и поступках все говорило за то, что он был далек от мелкого тщеславия и жадности, присущей многим из его близких, что жизненный опыт и книжные знания укрепили в нем природную безгловность к той неразборчивости в путях к достижению целей, которая является постоянной спутницей неумного честолюбия и жажды обогащения. Садуакас не был активным борцом за справедливость, но стремление его к нравственной чистоте, к добру и человечности в личной жизни и деятельности приводило его в большой разлад с родным окружением, но этот разлад, по-видимому

не принимал драматических размеров, ибо Садуакас оставался сыном своего клана, родовые предрассудки которого тяготели над ним. Тем не менее, современники имели достаточно оснований для того, чтобы характеризовать Сакен-ага, как сторонника правды, объективности, просвещения и гуманности, как человека, в котором совершенно отсутствовало чванство и высокомерие, присущее большинству его родичей. Каныш Имантаевич не раз впоследствии вспоминал и анализировал дружбу отца с Садуакасом и находил, что эта привязанность была искренней, душевной и завидно постоянной. Сердечное тепло к Сакен-ага укрепилось в Каныше с раннего детства, в особенности после одного случая на Шоптыколе. Канышу было лет 10-11, и он хорошо запомнил этот случай. Отец откуда-то ехал, попал под проливной дождь с градом, сильно простудился и слег. День или два никто не обращал особого внимания на болезнь отца, но на третий день аксакал стал бредить, ему стало тяжело, грудь вздымалась и опускалась с хрипом. Дали знать Садуакасу. Вначале друг отца приехал один, потом откуда-то раздобыл русского фельдшера, который посмотрел, что-то посоветовал, прописал и тут же уехал. Из юрты Имантая всех выселили, остались только Садуакас и аже Нурым. На другой день приехали обе жены Садуакаса. Целую неделю, а то и больше, аже Нурым, Зейнеп-байбише, и Бадиш-шешей (жены Садуакаса), сам Садуакас дежурили около отца. Статный, красивый, моложавый Садуакас был непривычно молчалив, много молился, мало ел, осунулся. Дней через 8-10, когда Сакен-ага, впервые улыбнувшись, откликнулся на приглашение дяди Жамина и просидел у него несколько часов за кумысом, чаем и бешбармаком, всем стало легко, все почувствовали, что Имантай-аксакал выздоравливает.

Среди Шормановых были и сверстники Каныша, люди и постарше, и помоложе, к которым будущий ученый не имел оснований относиться неприязненно. Но истинное уважение на всю жизнь он сохранил только к Сакен-ага.

...В конце пятидесятих годов, в один из приездов К.И. Сатпаева в Караганду, к академику в гостиницу зашел небольшого роста, скромно одетый, стеснительный человек и негромко приветствовал, подав по-старинному обе руки. В голосе, в наклоне головы академик почувствовал что-то близкое, знакомое.

- Слушай, ты не Динше?
- Да, я тот самый Динше, которого Вы, спасибо, не забыли.
- Дядя Кокен здравствует?

- Отец, слава богу, жив и приглашает Вас к нам домой, на чашку чая, живем скромно, но аксакал очень хочет Вас видеть.

Динше был внучатым племянником Сакен-ага. У Садуакаса своих сыновей не было, и он приблизил к себе племянника Кокена (сына младшего брата Биляла), человека спокойного, тихого и доброго. Сын Кокена Динше был весь в отца, с обожанием относился к Сакен-ага, был послушен и наивен, долго по настоянию деда учился, однако в учебе проявил себя не особенно и теперь, недавно переселившись с семьей из сибирского городка, работал на небольшой должности в Караганде, скромно содержа большую семью.

Комната была небольшой, с нехитрым убранством. Дядя Кокен уже глубокий старик, сидел на широкой, мягко устланной кровати, по-стелному скрестив ноги. Академик сид рядом с ним, пружина кровати хрустнула и опустилась ниже. Аксакал, зажав широкоую кисть академика между ладонями старческих рук, долго сидел молча, слезы тихо катились из глаз.

- Каныш, ты был хорошим парнем. Я плачу от радости, что ты остался таким же. Сын Имантая, друга моего отца Садуакаса, ты стал большим человеком, потому что теперь как никогда ценятся качества людей. Спасибо, что зашел навестить старика. Когда я послал Динше к тебе, я был уверен, что ты придешь.

И потекли воспоминания, подробности которых восстанавливала сохранившая не только и былую статью и красоту, но и замечательную память, жена Динше. С вдруг среди этих воспоминаний, академик лукаво улыбнулся, мягко положил ладонь на плечо старика и сказал:

- Кокен-ага, подбросьте, пожалуйста, шахша, нигде не видел насвая вкуснее и лучше Вашего!

- Канышжан! Канышжан! Ты остался таким же ленивцем и попрошайкой! На, бери, да учи, да учи, что потчую последний раз, пора самому шахша заводить! - старик достал из кармана сделанную из рогов красивую, плоскую шахша и подал Канышу.

Академик затрясся от смеха, смеялся старик Кокен, залился Динше, к нему присоединилась его жена: точно так юный Каныш когда-то в степях обращался к доброму дяде Кокену за насваем, и тот, не смея отказать, угощал в каждом случае «последний раз», обзывая юношу: «попрошайкой» и «лентяем». Только подростки-дети Динше, сгрудившиеся в дальнем углу комнаты, не могли понять, отчего так весело смеются четыре немолодых человека.

Август... Ночи становятся длиннее и прохладнее. По вечерам же Нурым заставляет одеваться теплее. Старшее население к вечеру зябко льнет к очагам. Все чаще дождит, и дуют холодные ветры. Уже намечен день, когда аулы покинут Шоптыколь до следующего лета. Будут двигаться так, чтобы в кыстау прибыть в сентябре. Неделю назад самые сильные жигиты аулов Сатпая во главе с дядей Шадетом уехали на Айрик, чтобы скосить, собрать в копны сено на лугах - корык недалеко от кыстау. Бекеш уехал с ними, Каныш тоже хотел быть в веселой компании косарей, но даже Нурым не отпустила. Ежегодный сенокос был делом обычным. В этом году на корык был хороший травостой, и Имантай-аксакал по этому поводу не беспокоился. Его больше занимала первая жатва на Бельдеш. За лето несколько раз ездили туда из аула и привезли весть, что урожай хороший. В середине августа можно приступать, как предсказывал тамыр Андрей, к косьбе и обмолоту. Тут снова не обойтись без самого тамыра: надо дать ему знать, в какое время аулы прибудут на Бельдеш.

Обратная кочевка в кыстау сопровождается теми же взаимными приглашениями, угощениями, играми, забавами, что и весенняя. Сталкивающиеся аулы готовятся к долгой разлуке до весны и затевают веселые прощальные церемонии. Обратные кочевки бывают сытней, щедрей, шире и разгульней, потому что скот - главная статья расходов в этих случаях - нагулял за лето тело и на угощения идет вкусное и жирное мясо, а не сюр, как было весной. Больше и кумыса, потому что весной нельзя передавать только что ожеребившихся кобыл, необходимо оставлять материнское молоко еще неокрепшим жеребяткам. Каныш, которому жизнь на Шоптыколе уже начала казаться однообразной, мотался на своем гнелке и предвкушении незабываемых впечатлений, которые он испытал в весеннем кочевье. Однако Имантай не позволял аулу подолгу оставаться на привалах - он спешил к Бельдешу, где аул ожидало продолжение совершенно нового дела, которое было начато весной. Озабоченность отца передавалась малышу, но он никак не представлял себе, что могло произойти на перерывной, перепаханной черной земле. И когда кочевка через три или четыре больших привала приблизилась к желанному местечку Бельдеш, с возвышенности, подступающей к полю, открылось изумительное зрелище. Казалось, что кто-то оставил в степи громадную раскрытую книгу - одна страница была серовато-зеленой, другая - красной. Те, кто были на конях, не выдержали, поскакали вперед. Справа колыхалась на ветру

красным ковром пшеница, слева таким же, но зеленоватым ковром - овес. Каныш, подскакав к правой половине поля, осадил своего коня у самой кромки ковра. С высоких, стройных, тонких стеблей, с прозеленью внизу свисали прямо под рукой, выше стремени, удивительные гроздьи - они в поперечнике были четырехугольны и похожи на его плетку, которую красиво и прочно сплел ему дядя Жамин, и которой он постоянно любовался. Гнедой почуяв вкуснее, ухватился губами за колоски. Канышу не понравилась бесцеремонность гнедка, он резко дернул повод, а сам, нежно взяв один колосок, растер его на ладони - за шелухой открылись зерна, точь-в-точь те зерна, которые рассыпали на этом поле весной дядя Шадет и тамыр Андрей. Восторгу и радости Каныша не было предела - он поскакал обратно к кочевке, чтобы первым показать это чудо отцу.

Самое интересное началось на другой день. Приехали все, кто был на покосе. Приехал с ними и тамыр Андрей, да не один, а с женой, которая называлась тате Маруся. Наверное, она сказала: «тетя Маруся», но в ауле переименовали на свой лад: тате Маруся. Так звучало ласковей. Рыжая, смешливая тате Маруся развязала большой мешок, из которого посыпались морковь, огурцы, картофель. Каныш и другие аульские ребята и девчонки набежали на неожиданное лакомое угощение; на бублики и калачи, высыпанные из другого мешка, не обращали внимания. Между тем, дядя Шадет и тамыр Андрей возились с серпами, которые они привезли с собой, натачивая их. Их было много - штук десять. В доме же Имантая-аксакала был всего один серп, применялся он редко, для срезания камышей, из которых на Шоптыколе делались навесы возле юрты. Наконец, тамыр Андрей сказал, что можно начинать. Все сели. Имантай-аксакал прочитал короткую молитву, молвил в конце громко: «Алла акпар!» и провел ладонями по лицу. Все повторили движение аксакала. Тамыр Андрей и тате Маруся перекрестились. Все во главе с отцом и тамыром Андреем двинулись к полю. Дядя Шадет, дядя Дуйсембай, Абсалам и несколько жигитов, приехавших на помощь, были вооружены, как и тамыр Андрей с тате Марусей, серпами. Тамыр Андрей подошел к кромке поля, перекрестился еще раз, взял в горсть пучок стеблей, ловко подсек серпом и засунул пучок подмышку. И потом заработал так проворно, что под левой рукой быстро образовалась охапка. Затем, сжав последний пучок в горсть левой руки и вытянув часть пучка, чтобы он был подлинней, скрутил правой рукой этот пучок в жгут. Мгно-

венно стянув этим жгутом то, что было в левой охапке, посередине, словно девушку в талии, завязал концы жгута и поставил полувисющую связку торчком вверх колосьями. «Это сноп!» - громко сказал тамыр Андрей. Рядом с первым столь же быстро появился второй сноп. Вслед за своим мужем пошла совершать такие же чудеса тате Маруся. Шадет, Дуйсембай, Абсалям и жигиты стояли, не смея подступиться. Казалось, какая-то внезапная робость овладела ими. Тамыр Андрей быстро собрал первый десяток снопов в сооружение, которое хорошо защищало колосья от дождя в непогоду и от солнца в жаркие дни. Для этого Андрей поставил один сноп строго вертикально колосьями вверх, восемь снопов бережно прислонил также колосьями вверх вокруг него, а один сноп юбкой, колосьями вниз, опустил на торчащую головку центрального снопа: После первой такой кучи, которую тамыр Андрей назвал суслоном, появилась вторая, а незадачливые земледельцы-казахи, вышедшие на первую жатву, продолжали стоять, робко переглядываясь. Наконец, тамыр Андрей прервал работу, вытер тыльной стороной ладони пот со лба, позвал к себе дядю Шадета и стал его медленно и методично учить. То, что делали тамыр Андрей и тате Маруся до сих пор было демонстрацией того, как можно и нужно работать на жатве. Все от мала до велика были у поля. Начали смеяться над неуклюжими движениями дяди Шадета: левая рука, собирая в горсть пучок, который нужно скосить, отнималась в локте от тела и то, что было под мышкой, падало на стерню. Самым трудным оказалось сделать жгут, держа скошенное под сноп в охапке. Абсалям внес предложение скашивать косой и собирать сноп с валка. Тамыр Андрей возразил, что этого нельзя делать, т.к. колосья трудно собрать в головку снопа, ибо в валках колосья, особенно в ветреную погоду, ложатся вразброд. Лучше потерпеть да научиться косить серпом. Тате Маруся сказала что-то по-русски, тамыр Андрей перевел: «Почему женщины аула тоже не берут серп?» «Дай бог мужчине-казаху освоить это диковинное дело! И ты, Маруся, иди в юрты и не срами нас. Тебя стыдно заставлять работать, ты будь гостем, хватит с нас тамыра». Маруся засмеялась, положила серп и отошла к женщинам, стоявшим поодаль.

Сноповязание оказалось делом непривычным и тяжелым. Дядя Шадет и его подручные быстро уставали. Тамыр Андрей не торопил их, делал частые перерывы на отдых. И все же косари постепенно приноравливались. В первый день, пожалуй, работал за всех тамыр Андрей. Однако на другой день

дело пошло веселее. Можно было оставлять аульных косарей одних.

Неугомонный, веселый тамыр Андрей и отец отмерили возле юрты четырехугольник - двадцать шагов в ширину - и стали срезать острыми лопатами травяной слой под корень, чтобы обнажилась земля. Делалась эта работа тщательно, образовалась квадратная черная полянка. Тамыр Андрей рассказывал Канышу и другим детям, которым до всего было дело, что в русских деревнях это называется током, поверхность его утрамбовывается тяжелым катком. В ауле катка нет, поэтому придется подчистить и выровнять поверхность лопатой, пыль смести метлой и этим ограничиться. Ребята сразу же приспособили полянку для игры в асыки-бабки, т.к. после выезда из Шоптыколя ни разу не удалось найти хорошую, чистую от травы полянку. Затем тамыр Андрей отрубил от жердей палку метра в полтора-два длиной, прикрепил к ней на прочном кожаном ремне палку покороче. Затем для пробы, взявши длинную палку за свободный конец, размахнулся ею - короткая палка, свободно болтавшаяся на ремне, описала полукруг и тяжело плюхнулась на землю. Тамыр Андрей пояснил ребятам, что это называется «цеп» или «молотило» и что цепом-молотилом будут бить по снопам, по колосьям и тогда будет высыпаться зерно. Сделали они с отцом таких цепов-молотил штук десять.

Наконец, пшеница была скошена; суслоны стояли, словно пешки на шахматной доске, которые мастерил дядя Жамин. Уборка овса была отложена до окончания уборки пшеницы, к этому времени овес должен был хорошо созреть. Пшеничные снопы стали свозить и укладывать на току колосьями к середине. Начали молотить: восемь человек по четыре цепа с двух сторон ожесточенно били по снопам, периодически продолжая молотить, прохаживались поперек снопов. Солома, по указанию тамыра Андрея, оттаскивалась в сторону и укладывалась в кучу-скирду. Зерно собиралось в кучу, перегребалось и отсеивалось от шелухи-мякины, для этого зерно на деревянных лопатах подкидывалось вверх, тяжелая пшеница падала обратно, а мякина относилась ветром. Молотили дня два или три: рядом с током выросла скирда соломы, а на току получилась целая гора пшеницы. Работали все, кто мог держать цеп, вилы и лопату. На помощь приехало еще несколько жигитов из соседних аулов. На ночь пшеницу закрывали от росы домотанными половиками - алаша, а днем разбрасывали тонким слоем на весь ток, чтобы зерна хорошо высохли. Через два-три дня стали скла-

дывать в мешки. Мешков в ауле не было: пришлось их делать из тех же алаша: часть пшеницы ссыпали в ящики - кебеже. Пшеницы нажали много, может быть, пудом сто пятьдесят. Ни в одном окрестном ауле, кроме разве аулов Шормана, никогда столько пшеницы не бывало. Приезжали любопытные из соседних аулов посмотреть, как Имантай в первый год собрал невиданный урожай пшеницы. Одарены были жигиты, помогавшие в жатве - каждый из них получил по громадному мешку зерна. Один из аксакалов, приехавший как будто выразить свое почтение Имантаю, а на самом деле увидеть своими глазами, как может степной мусульманин заниматься не своим делом, посмотрел, удивился и сказал, обращаясь к тамыру Андрею:

- Слушай, тамыр, ты зачем портишь доброго мусульманина Иман-тая? Казаху дано разводить скот, есть мясо и молоко. Так определил аллах. Степь казаха должна быть чистой и целой. А когда казах роет землю, чтобы как русский растить злаки - это нехорошо. Он все равно лучше русского не сделает и землю испортит и сам испортится: скот пасти разучится, а землю обрабатывать не научится.

- Тамыр, - ответил в свою очередь Андрей, - ты баурсаки любишь, русский калач любишь, тесто в бешбармаке любишь? Твой конь меньше устает, когда ест овес? Будешь овсом кормить, будешь на одном коне круглый год ездить, не будешь - надо иметь много коней, чтобы часто менять их, опуская усталого на выпас. У Имантая ездовых коней мало, потому что у него мало косяков, и он правильно сделал, что посеял овес. Теперь он и за хлебом не будет ездить в русский поселок, свой хлеб будет есть. А народ не испортится, наоборот, научится много и постоянно работать, потому что посевы требуют еще большего ухода, чем скот. Тамыр, тебе тоже в своем ауле надо сеять пшеницу и овес. Надо бы сеять и лук и морковь, и огурцы, и картофель, и другие русские растения. Твои дети с охотой их едят. Но это делать вам трудно, потому что казах не может не кочевать. А вот пшеницу и овес можно сеять и жать!

Аксакал посмотрел на пшеничную кучу, покачал головой, сел на коня и уехал. Имантай-аксакал улыбнулся:

- Андрей, Андрей, расстроил ты человека. Крепко призадумался человек, даже проститься забыл. Вот увидишь, на следующий год будет просить у тебя семена и соху!

Овес аульчане убрали сами. Тамыра Андрея долго ждало собственное хозяйство, он не мог оставаться долго и уехал сразу же после уборки пшеничного поля. Тате Маруся уехала

еще раньше. Первая жатва задержала аулы Сатпая на Бельдеше недели на две, а то и больше. Маленький Каныш чувствовал, как все рады, что у них теперь много пшеницы и овса. Все в ауле лакомились жареной в масле пшеницей, она особенно хороша с чаем, а если с разрешения аже набрать в карманы, то можно весь день жевать, пока не устанешь. Канышу очень хотелось есть баурсаки со своей пшеницы, но для этого, как ему растолковал Бокеш, необходимо везти пшеницу в Алексеевку, где есть мельница с большими-большими крыльями; крылья крутятся от ветра и крутят за собой большие каменные круги-жернова, между которыми зерно превращается в муку. Канышу самому хотелось посмотреть на эту сказочную мельницу-птицу.

Уже наступил сентябрь, и аулы, подъехав к зимовке, расставили возле нее юрты. Перед тем как поселиться в зимовье, надо почистить, побелить, законопатить, словом, подготовить жилье к зиме. Каныша поразил вид кыстау: весной между избами, дворами, да и вокруг кыстау было стоптано, черно и пыльно. А теперь росла густая трава как на лугах. И эта трава, по-видимому, была очень вкусной, потому что кобылы и жеребята, волы, коровы и телята - все накинудились на нее и с хрустом, не поднимая головы, поедали ее. Каныша это удивило. Почему там, где было стоптано людьми и животными, все хорошо росло, а там, дальше вокруг был тот же ковыль, с той только разницей, что его весной оставили зеленым, а теперь он стал серым. Аже Нурым объяснила, что земля имеет душу и что она, душа земли, любит, чтобы на ней что-то росло, а эту землю, на которой стоит кыстау, почти полгода топчут, не дают на ней ничему расти, и ее душа, соскучившаяся по растительности, торопится и, пока аулы кочуют, дает такой обильный рост травам.

Через несколько лет ученик Каныш узнает, что отбросы животных являются удобрением для земли, а красивое объяснение аже Нурым о скучающей по травам душе земли он с улыбкой будет вспоминать всю жизнь.

... Наконец, перебрались в зимовье. Орбита кочевков замкнулась. После неуютной юрты, когда утром не хочется выбираться из-под одеяла, когда целый день не снимаешь с себя теплую одежду, когда все зябко стремятся к очагу, когда горячий чай или горячая сурпа стынут в руках, когда в бурдюках, окутанных от холода кошмами, плохо бродит кумыс, какое наслаждение жить в теплых комнатах зимовья. Кочевник не поселяется в зимовке, ибо за кыстау у него зимние пастби-

ща, которые не следует стравливать преждевременно, и чем позже он окажется в кыстау, тем лучше обеспечит свой скот пастбищами в самое тяжелое время года.

Маленький Каныш был безмерно рад переезду семьи в зимнее жилище, ибо худенький и зябкий мальчик особенно остро ощущал неудобства холодной юрты.

А в зимовье, пока не наступила настоящая зима, надо многое сделать. Закрыть заново крыши скотных помещений, кое-где подновить стены и опоры, вывести с лугов сено, сшить, починить зимнюю одежду, следить за скотом, - забот много, а день становится все короче, и в ауле работают все от мала до велика. Для Каныша и его друга Жумаша были большим и радостным событием поездки за сеном. Еже Нурым наставляла дядю Шадета и брата Абсаляма, чтобы дети, не дай бог, не попали под телегу, не упали с воза, чтобы на них не свалились вилы и не лягнула лошадь. После этого они садились на бричку возле дяди Шадета. Сено возили на трех бричках, в которые были впряжены по паре лошадей. Одной правил дядя Шадет, другой - Абсалям, а третья была пустой, лошади бежали на поводу за бричкой дяди Шадета. Каныш и Жумаш так и норовили сесть в пустую бричку, чтобы самим править лошадьми, но дядя Шадет строго выполнял наказ аже Нурым и не отпускал детей. До лугов доезжали быстро. Возы укладывались поочередно. Подъезжали к первой копне, ставили бричку рядом с ней, Каныш и Жумаш держали лошадей за уздцы, чтобы бричка не сдвинулась с места. Брат Абсалям, сбросив верхнюю одежду, ловко орудуя вилами, сбрасывал в бричку чуть не полкопны. Первая копна мигом оказывалась в бричке. Но разворошенное сено, которого, казалось, было так мало в приземистой, низенькой, потемневшей сверху копне, дыбилось, не вмещаясь в бричку. Подходил дядя Шадет, влезал на бричку, утаптывал в сено, а в это время Абсалям вел коней к другой копне.

Теперь уже Абсалям подавал сено навильниками поменьше, чтобы дядя Шадет успевал укладывать воз, как нужно. А укладывать высокие возы сена дядя Шадет был мастер. Все в ауле хвалили его за это умение, а Жумаш был на седьмом небе и хвастался отцом. Канышу же казалось, что молодой, крепкий брат Абсалям мог бы легко научиться ровно укладывать возы, но этого он не делал нарочно, потому что старался выполнять то, что требует силы и выносливости. Каныш любил своего брата и верил в него. Возле второй копны Жумаш оставался у лошадей один, а Каныш гордый тем, что не

бездельничает, бежал за ручными граблями, оставленными еще вчера на одной из копен. Сено вокруг воза по мере укладки осыпалось, и Каныш граблями подбирал его, поддавая под вилы брата. По мере перехода от копны к копне воз становился все выше и при движении так качался, что, казалось, дядя Шадет вот-вот слетит, а сено свалится набок. Лошади уже тянут воз с натугой, что означает, что надо заканчивать укладку. Абсалям берет длинную жердь - бастрык, которая во время укладки влачилась за возом вместе со свернутой в узел и прикрепленной к бричке толстой веревкой - арканом из конского волоса, отвязывает его и подает дяде Шадегу. Затем проталкивается между возом и лошадьми, находит прикрепленную там петлю и надевает на толстый конец бастрыка, поданного сверху дядей Шадегом. Каныш удивляется, что лошади не брыкаются и не трогают брата, хотя он подлез к переду брички, грубо толкая коней сзади. Он решает, что лошади боятся таких смелых людей, как Абсалям. Дядя Шадет, находясь высоко на трясущемся и качающемся возу, тянет бастрык назад. На свободный конец бастрыка, торчащий почти вертикально вверх, Абсалям ловко набрасывает веревку, хватается за свободно свисающий конец, с силой тянет вниз, задевает внизу за петлю и свободный конец довольно длинной веревки снова забрасывает на бастрык и слегка отпускает его. Дядя Шадет тянет бастрык к себе. Абсалям снова тянет веревку вниз, повисая на нем. Жумаш продолжает держать лошадей, а Каныш норовит помочь брату. Затягивание бастрыка повторяется несколько раз, пока Шадет не дает распоряжение завязать узел. Воз готов. Таким же образом укладываются и другие два воза. Ребята порядком проголодались, и когда дядя Шадет раскрывает мешочек с баурсаками и, достав бурдюк, разливает в деревянные чашечки - тостагак кумыс, мальчишки жадно набрасываются на еду. Потом карабкаются на воз и скрываются в ложбине, образованной бастрыком. За ними взбирается Шадет. Ехать на такой высоте, не боясь упасть, наблюдая далекие окрестности, и вдыхая приятный запах - одно удовольствие. Ребятам так и хочется побаловаться, пошалить, но они сдерживаются, ибо был случай, когда их бабаловство чуть не окончилось печально: Жумаш, давясь от смеха, неудобно повернулся и упал с воза, испуганные лошади вздрогнули, дядя Шадет еле удержал их. Благо, не выехали с мягких лугов, и Жумаш отделался легким испугом. Теперь они лежат рядом, блаженно и молча посматривая вокруг и изредка одаривая друг друга радостной улыбкой. Дядя Шадет затянул свою песню,

мотив которой у него никогда не менялся. От выпитого кумыса, от мерной качки, от ароматного, пьянящего запаха сухих трав, от однообразной песни дяди Шадета ребят разморило, и они заснули. Проснулись только тогда, когда возы остановились возле скирды. Ребята быстро скатились с воза и побежали в аул, потеряв интерес к дальнейшей судьбе привезенного ими сена, ведь, в ауле могло произойти много интересного в их отсутствие, и обо всем немедленно надо узнать у сверстников, оставшихся дома.

Зима... Снег... Наступила пора трескучих морозов. Аул в первые же морозы приступает к согыму - заготовке мяса на зиму. На улице перед двором стоят на привязи лошади, которых будут резать. Их только что отбили от косяков и привели резать именно в эти дни, позже они потеряют тело. Каныш беспокоится, почему их мучают, долго держат на привязи. Бокеш солидно объясняет ему, что перед тем, как резать, надо выдержать согымных лошадей день-два на холоде, на привязи, тогда сало не будет вывариваться, и мясо будет вкуснее. У Имантая-аксакала всю зиму будут гости, да и большая часть аула кормится у него. Поэтому он отбирает не менее десяти лошадей. К этому надо прибавить баранов отбитых от стада. Пастух точно знает, какая из овец плохо выдержит зиму, ту надо резать именно сейчас, пока не поздно. Правда, зимой баранина не так ценится, как конина, но пусть лежит. К весне, когда согым будет кончаться пойдет в ход баранина. Везде в зимовке дымят казаны, варится бешбармак из конины, жарится, шекоча ноздри аппетитным запахом, куырдак из лошачьих внутренностей. Люди в ауле в приподнятом настроении, ибо за лето и осень истосковались по вкусной и свежей конине.

У Каныша и его друзей одно из веселых развлечений в это время - катание на салазках. Крепкие и ходкие салазки только что сделал ему дядя Жамин, аул которого виднеется на склоне горки за Ащису, верстах в двух. Канышу так хотелось иметь свои салазки, что он два дня жил у дяди Жамина в ожидании их. Теперь с горки за двором дяди Дуйсембая можно катиться вниз далеко-далеко, до самых ледяных полянок Ащису. Правда, потом, ниже, санки замедляют ход и не так интересно катиться, но с самой горки, пока не поравняешься с хижинной дяди Дуйсембая, летишь птицей. Обратной же на горку надо забираться в обход.

... Однажды Каныш и Жумаш взобрались на горку. Каныш лег животом на санки, а Жумаш толкнул их и упал на друга сверху. Санки покатались, но у самой хижинны дяди Дуйсем-

бая Жумаш отлетел почему-то влево, а санки с Канышем повернули вправо и влетели прямо, в окно хижины, прорвав натянутый пузырь. Тетя Рукия с испугом вскрикнула, еле опомнившийся Каныш успел выбежать с санками обратно на улицу. Вслед послышалось какое-то нелестное громкое слово насчет байского шалуна. Каныш, сгорая от стыда, бежал домой без оглядки. Весь день он просидел дома. Даже отвернулся от пришедшего Жумаша. Тот молча постоял и ушел. Мальчик понимал, что означает открытое окно зимой, когда в доме маленькие дети и считал, что совершил большой проступок. Он ожидал, что тетя Рукия скажет дяде Дуйсембаю, а тот пожалуется отцу. Но никто ничего не говорил, не уловил он осуждения и во взгляде отца. Порывался было сам признаться, но не посмел. Несколько дней он не катался на салазках, обходил при встрече дядю Дуйсембая, тетю Рукию и их детей. Потом он узнал, что тетя Рукия никому не жаловалась и в душе мальчика затеплилась благодарность к этой ласковой и доброй женщине.

Позже, повзрослев, Каныш узнал, что в их ауле только две семьи не принадлежали к их роду - это мулла Нерметжан, который учил детей аулов Сатпая и дядя Дуйсембай, оказавшийся здесь по воле случая. Он был айдабульцем, близкие родственники по какой-то причине обидели его, и он, прослышав, что Имантай-аксакал - добрый, благородный и спокойный человек, попросил пристанища в его ауле. Дуйсембай и его жена Рукия были люди скромные и трудолюбивые, прижились в ауле и их никто не отличал от своих.

Юноша Каныш, приехав как-то на каникулы, зашел выразить почтение в юрту Дуйсембая. Тетя Рукия была одна, засуетилась, размешала и подала кумыс и тут же пошутила:

- Канышжан, Канышжан, спасибо, что зашел. А то, думаю, возьмет книжку в руки, задерет нос и пройдет мимо!

- Тате Рукия, как я пройду мимо, я ведь перед Вами в неоплатном долгу. Помните шалуна, который влетел на салазках к Вам в окно? Мне тогда так было стыдно, ведь у вас в доме был грудной ребенок. Я боялся упреков отца. А вы никому так и не сказали.

- Канышжан, о чем ты беспокоишься. Плохой человек помнит только, как его обижали. Хороший человек помнит, как кого-то он обидел и старается загладить свою вину. Это ты помнишь потому, что хороший человек. Но на самом деле твоей вины ведь нет. Ты был маленький и заскочил невзначай. Но мне приятно, что ты передо мной чувствуешь себя виноватым,

нет-нет, да и вспомнишь старую тате! - засмеялась тетя Рукия. Каныш запомнил навсегда эти слова скромной, незаметной труженицы Рукии о том, что «плохой человек помнит только то, что его обижали, а хороший человек помнит, как кого-то обидел». С годами его все больше поражала редкая, пробивающаяся откуда-то изнутри мудрость многих неграмотных и темных людей. Он считал, что надо улавливать искорки этой мудрости и не пропускать ее мимо ушей.

Зима памятной всего своими длинными вечерами, когда, оставив хлопоты и заботы короткого дня, все после ужина собирались в комнате отца, садились у единственной в ауле керосиновой лампы (во всех других домах горели свечи на бараньем сале), и отец заставлял читать Бокеша нараспев поэмы хисса о Козы-Корпеше и Баян-Сулу, о Кыз-Жибекке и Толегене, о Лейли и Меджнуне и многих других, живших в далеком и недалеко прошлом людях, чья жизнь, несмотря на их доброту и доблесть, состояла порою из страшных неудач. Многие из присутствующих утирали слезы. Каныш же, будучи мужчиной, стыдился слез и отворачивался. Он знал, наизусть, как и многие другие в ауле, трогательные судьбы героев, о которых читал Бокеш, и слушая снова, волновался. Иногда ему казалось, что вот-вот Бокеш будет читать о том, как изменились судьбы героев, как их врагов настигла заслуженная кара, и как люди, столь справедливые, добрые и смелые, наконец, достигли желанного счастья. Однако ничего подобного ему не удавалось услышать. По-видимому, то, что написано, напечатано, не могло измениться. Бокеш же, читая, иногда отрывался от текста и продолжал наизусть, поражая слушателей своей памятью. Слушая Бокеша, Каныш иногда мечтал о том дне, когда он сам станет читать, как старший брат. Его огорчало, что отец, несмотря на то, что Каныш уже знает многие буквы и умеет складывать некоторые из них в слова, не разрешал ему учиться писать, а еще более его расстраивало полное невнимание со стороны отца на его старания играть на домбре. А Бокеш уже играл на домбре так, что многое у него получалось не хуже, чем у отца. Откуда ему, маленькому, было знать, что отец и мать, ранее всех поняв, что Каныш растет способным мальчиком, очень боялись языка и глаза и старались, чтобы их любимый последыш - кенже, оберегаемый от всего зрачок их глаз, не поражал окружающих людей своим слишком ранним развитием. Отец, и в особенности аже Нурым, в этом отношении были очень суеверны. Они боялись быстрого развития Каныша.

Но подходило те время, когда маленький Каныш возьмет впервые в руки бумагу, карандаш, перо и книгу, и откуда было мальчику знать, что эти не очень привычные для степей орудия интеллектуального труда, занимая в его жизни все большее и большее место, выведут его на широкую дорогу царства разума и поставят в ряд с теми, чьих «дум высокое стремление» причисляется к гордости народа.

ОТ МУЛЛЫ К УЧИТЕЛЮ

«Говорю тебе правду: не торопись женить сына, обучай его русской науке, хотя бы пришлось тебе для этого заложить все свое имущество»

Абай

Аксакал сегодня в глубоких раздумьях. Его младший сын Каныш послезавтра должен пойти к мулле. Начинается для мальчика пора учения. Отводил аксакал к мулле в свое время старшего, приемного Абсаляма, не рад это повторял с племянниками - детьми Зеина и Жамина. Давно ли он пришел к мулле, держа за руку Бокеша, но ни разу не впадал в такие глубокие раздумья и так не волновался, как сейчас. Каныш...Каныш... Он занимал особое место в сердце, при думах о нем отец терял душевный покой. А в последнее время его раздумья стали усиливаться от чтения стихов Абая, которые и сейчас лежат перед ним, аккуратно переписанные и переплетенные в тетрадку. Их прислал ему из Кереку (Павлодара) племянник Аби-кей. Уж такое свойство этих стихов - начни лишь читать, за каждой строкой волнами наплывают воспоминания, воскресает полузабытое, обостряется и сильнее берedit душу то, что волнует сегодня. Встречал он этого Абая лет десять назад в Семипалатинске. Подошел к нему среднего роста плотный человек, прямо смотря в глаза, подал обе руки и тут же, чеканя слова и слегка улыбаясь, пошутил насчет того, что каржасцы и тобыктынцы* - одного поля ягоды - оба рода постоянно избегают власти тюре - чингизидов, и что каржасцы в этом отношении более последовательны, чем тобыктынцы, поэтому ему приятно приветствовать видного представителя рода Каржас. Имантая поразило то, что этот человек не имеет даже тени той величавости в походке, в осанке, в жестах, которой бы должен обладать сын Кунанбая, руководитель одного из

* Тобыкты - род, которому по рождению принадлежал Абай

сильнейших родов Среднего Жуза. Еще более поразило и другое: в степях впервые встретившиеся именитые люди, уже достаточно наслышанные друг о друге, склонны остро поддеть собеседника, подчеркнуть свое мнимое или истинное превосходство. К этому располагало то, что Абай и Имантай были почти одногодки, и любые шутки между ними были бы уместны. Этот же человек, вместо ожидаемых уколов, высказал тонко и красиво похвалу всему роду Каржас. Не ожидавший такого оборота в этой встрече, Имантай как-то растерялся и не смог в ответ хотя бы похвально напомнить сыну о деяниях его знаменитого отца. Он пробормотал, как помнится, что-то мало внятного о вольнолюбии и гордости в степях, завещанных предками. На том разошлись и больше не встречались. Многие говорили об уме, находчивости и справедливости его, хотя аксакалы-заправила не ставили сына ни в какое сравнение с отцом, одноглазым Кунанбаем, бывшим чуть ли не царьком, властвовавшим над степями от Семипалатинска до Каркаралинска. Они считали, что Абай уже растерял все то, чем возвысил род Тобыкты отец его Кунанбай, ибо стихи - не табуны, ими не подмажешь русских чиновников и не удержишь в узде своих же приспешников. И вот три года тому назад этот человек умер. Его мысли и речения, над которыми пробовали смеяться степные воротилы, расходятся теперь все шире и шире по степи, покоряя и старых, и молодых своей мудрой простотой и ясностью.

Читает аксакал стихи Абая и каждый раз сильнее чувствует, как кратко, точно и бесхитростно выразил Абай все, о чем не раз задумывался и не раз высказывал аксакал. Казалось, именно так и приходил к подобным выводам, а высказывал их, как теперь он начал понимать, многословно, велеречиво и неточно, придя в азарт от того, что слушали его, как правило, внимательно. Но что с того, что слушали, если в народе, даже не в народе, а хотя бы в ближайшем его окружении не повторяется ни в чеканных стихах (а ведь в стихах свои думы аксакал тоже пробовал выражать), ни в острых, кратких, точно бьющих в цель присловьях - поговорках мысль, высказанная когда-то Имантаем. А все оттого, что почти никогда он не находил таких емких, всегда уместных, и в те же время обыденных слов, как у Абая, мало того, чуждался их, густо оснащая свою речь умными назиданиями предков, блистательными, как казалось ему, извлечениями из Низами, Навои, Хайяма, многих других восточных мудрецов. У Абая же все поражает величавой простотой, проникновенной. легкостью и тут же за-

поминается. В словах, которые он применил, ни прибавишь, ни убавишь. Поистине, прав был поэт, когда говорил: «Как ни прекрасна мысль, но пройдя через уста, она бледнеет». И-все же есть исключения. Мысль, проходя через уста таких, как Имантай, действительно, бледнеет, а проходя через уста Абая, сохраняет свою первоизданную красоту и силу. Но как редки такие, самим аллахом избранные уста.

Абай, кочевавший в Чингизских горах почти рядом, его сверстник, не был при жизни понят Имантаем. Поэтому, встретившись однажды, он и не искал больше встречи с ним. И вот теперь, в двух строках умершего поэта он, старый Имантай, видит, как в зеркале, всю свою жизнь:

Бестолкова участь, я жизнь прозевал.

Спохватился, да поздно. Вот он привал.

Учился Имантай, как теперь он понимал, действительно, бестолково. У муллы он научился читать коран, писать арабскими буквами письма на чигатайском наречии, ибо в те времена выражать свои мысли письменно чисто казахскими словами и речениями не было принято. Отец Сатпая не хотел, чтобы его статный, высокий, красивый, способный старший сын отставал от детей дома Шормана, так как считал, что он и его родичи менее преуспевают, чем люди дома Шормана, только потому, что вовремя не выучились русской грамоте. Отец втайне лелеял мечту, что именно они, потомки Шотика, наиболее видные люди из рода Жадигер, должны стать первыми среди каржасцев и айдабульцев. В конце концов на лбу Шормановых не написано, что они всегда и во все века должны главенствовать в Баян-Аульских степях. Честолюбивые мечты неграмотного аксакала не шли дальше. И когда однажды осенью Муса Шорманов повез старшего Садуакаса и Омск в азиатскую школу к двоюродному брату, Чокану Валиханову, служившему в больших чинах у царского генерала, Сатпай упросил взять с собой и Имантая. Эта просьба пришлась кстати, так как Садуакас тоже не хотел ехать без своего друга. Прочувались они до весны, успевали неплохо, уже сносно начали разговаривать по-русски, но никак не могли привыкнуть к жизни города, в котором жил Чокан. Днем, когда он, не бывал на службе, дом всегда полон русских и казахов самого разнообразного вида и в самых разнообразных одеждах, начиная от тех, в каких хозяин уходил на службу, и кончая степными лисьими шапками и чапанами. У всех были какие-то дела, какие-то разговоры, для всех находил Чокан время. Молодым людям надо было за всеми ухаживать, встречать, провожать,

помогать раздеваться и одеваться. Надо было быть под рукой и у жигита Чокана, постоянно суетившегося над приготовлением чая и явств, которыми тороватый хозяин всегда угощал своих гостей. А вечерами Чокан, переодевшись в просторный степной чапан, садился за книги, читал и одновременно постоянно что-то писал до поздней ночи, а иногда и до рассвета. А когда в иные дни ему удавалось пить чай вместе с Садуакасом и Имантаем, он весело шутил, спрашивая об их успехах и говорил, что надо учиться ...учиться долго и упорно, всегда, всю жизнь, тогда только станешь настоящим ученым человеком. Это удивляло юношей, ведь в ауле не слышали, чтобы любой ученый писарь или мулла учился так долго, как об этом говорит Чокан. Юноши сильно тосковали по степям, по родным, по любимым коням и собакам, им снились девушки, с которыми они встречались на тоях и шильдеханах, вышитые платки-подарки, которых они носили во внутренних карманах у сердца. Словом, приехав весной на каникулы, Имантай больше в Омск не вернулся. Вся учеба его на этом закончилась. Но аллах дал Имантаю силы и рвение - он зимними вечерами продолжал читать самостоятельно, частью порусски, а больше - по чагатаю и фарси, приобретая книги при каждом возможном случае и бережно их храня.

Оказалось, что знаний, приобретенных таким образом, достаточно, чтобы кичиться ими и хвастаться в степях. Опять же прав Абай:

Полузнайка - я мнил себя мудрецом .

И заносчиво ждал награду и похвал.

Можно, конечно, и малые знания употребить в добро на праведном пути, если строго придерживаться заветов аллаха и его пророка. Но верно ли он следовал заветам пророка? В этом аксакал сомневался. В молодости им овладело суетное желание быть в чинах, пока не понял, что бий, судья волости - это верх того, что он может достигнуть. И слава аллаху, направившему на верный путь, ибо это, может быть, была единственная должность в степях, с помощью которой он мог, хотя бы частично, выполнить то, в чем клялся и клянется аллаху, неукоснительно совершая пять положенных намазов в день. Но как трудно, при таком алчном окружении, выдержать путь правды и справедливости. Все верят аллаху, но редко кто помнит заповеди пророка, находясь -на поводу суетных страстей. Как это у Абая:

Раздор из-за чинов, насилье, клевета,

Блезненная страсть к волненьям и заботам...

Слеп был Имантай в молодости. Не будь он слеп, познал бы могучий дух Абая при его жизни, в беседах с ним, стал бы почитателем и наперстником в его горестной духовной одиночестве. Да что говорить об Абае. Года два тому назад Садуакас показал ему толстую тяжелую книгу с портретом Чокана на заглавном листе. Это оказались сочинения Чокана, отпечатанные в далеком царском Петербурге. Те сочинения, над созданием которых он трудился ночами в Омске. А в начале книги большой русский ученый написал, что Чокан был на небосклоне науки ярко горевшей звездой, которая, к горечи всех, рано погасла. Вот какой это был человек. А ведь Имантай даже тогда, когда они с Садуакасом лет сорок назад сопровождали Жакипа Валиханова до самого Семиречья к людям Большой орды, чтобы поклониться праху его знаменитого брата и вывезти его жену, не знал, что представляет собой Чокан. Он считал, что Чокан знаменит только тем, что он бесстрашен, пробирался в таинственную страну Кашгарию, где режут людей, как баранов, и вывез оттуда такие секреты, до которых до него не доискивался ни один чужестранец. Его больше всего прельщала мундир Чокана и волновало то, что такой необычный человек, царский офицер, приходится двоюродным братом по матери, жиеном Садуакасу. И этот второй самый мудрый человек степей встречался и прошел мимо невежественного, слепого Имантая.

И теперь сидит Имантай в думах о будущем, а будущее для казаха - это дети. И об этом точно сказал Абай: «Из людских отрад одну зовут - дитя. Обучение детей - наш долг прямой». На приемного сына Абсаляма Имантай махнул рукой - скромный человек, без способностей, без затей, будет плодить детей и жить на сатпаевских достатках, не убавляя и не прибавляя их, если тому поможет создатель. Растет Бокеш, да сохранит его аллах. Норовист и смышлен. Ему можно бы и учиться и учиться. А нужно ли нам, казахам, людям степей много и долго учиться? Таким, как Абай и Чокан, наверное, необходимо много, знать и много читать, ибо истинно учен тот, кто высечет из мудрости книг свою новую мудрость. А для чего много читать и много учиться таким, как Имантай? Кажется, немало книг прочитал и немало говорил по книжной мудрости, кому это пошло впрок? Кто за ним следует? Лишь одно утешение, что жизнь коротка, и ты на земле лишь гость, что все впереди, в потустороннем лоне всевышнего. Вечное блаженство ожидает того, кто верен заветам аллаха и его пророка. Всеми помыслами теперь надо искупать то, что вошло в

прегрешения от того суетного, мелкого и глупого, чем была полна жизнь. Надо чтобы дети твои молились над прахом твоим. Поэтому самое главное - научить детей произносить молитву всевышнему языком пророка, научить священным заветам право- веры. Молодец Бокеш! За два года учебы у муллы научился бегло читать по-арабски, знает наизусть многие суре из корана, может совершать сам все пять намазов, Словом, может теперь обращаться к аллаху словами самого пророка.

Казалось бы, надо способному Бокешу и другим детям аула Сатпя продолжать учиться, чтобы и дальше постигать основы учения . пророка, чтобы стать в будущем таким богоугодным мусульманином, который озарял бы степи светом истинной веры. Для этого всю жизнь надо посвятить делу аллаха и святой веры.

Но тут мысли аксакала начали путаться. Глубже постигать учения пророка... Он не очень понимал, к чему должно сводиться такое постижение. Он не раз встречался с высшими служителями истинной веры, муллами, хазретами, муфтиями, получившими духовное образование в Бухаре, Ташкенте, Троицке, не раз говорил с ними о вере, об истине, заключенном в заветах пророка, но ни разу не получал ответа, который был бы ясен, прост и проникновенен. Казалось, даже, наоборот; был более учен слуга пророка, тем больше тумана в его рассуждениях, тем больше непонятен и непостижим он разуму мирянина. Это приводило его, Имантая, человека безраздельно и трепетно преданного аллаху и заветам его пророка, в какое-то смущение. Он смущался оттого, что никогда не находил убедительных, от сердца идущих слов в пользу духовного образования, кроме тех, затверженных, думалось ему, слов о необходимости каждого мусульманина воздавать хвалу создателю и его пророку, о необходимости молиться за прошения мирских прегрешений, о том, что для этого надо научиться произносить молитвы на языке корана.

Наоборот, когда речь заходила об обучении в русской школе, тут все было ясно и становилось на свое место. Он чувствовал, что русская школа дает конкретные знания, навыки к мирским профессиям, полезным для жизни. Аксакал сомневался в том, что человек степей в ближайшее время научится строить города, железные дороги, телеги-самоходки, как это делают русские. Племянник Абиkey и друг Чокана Потанин напрасно уверяют, что надо учить молодежь, чтобы она овладела этими диковинными для степей делами. Нет, аллах

рассудивший поселить казахов в бескрайних степях, не скоро, наверное, даст им возможности постигнуть тайны русского ремесла, хотя Абай призывает всему учиться у русских. И все же аксакал был рад тому, что в ауле Шормана недавно открыли русскую школу, пригласили русского учителя. Теперь Бокеш пойдет в эту школу. Мулла Нигметулла ему уже не учитель: все, что он мог дать, мальчик уже усвоил. И как хорошо, что мальчик может учиться дальше, не выезжая далеко. Аксакалу казалось, что, если бы его отец, Сатпай, обладал хотя бы такой грамотой, таким кругозором, как Имантай, то этот сын прожил бы менее бестолковую жизнь, он был бы, возможно, способен оставить за собой хоть частицу тех непреходящих ценностей, какими щедро одарили своих соплеменников Абай и Чокан.. Если бы отец Сатпай не был в восторге от того, что сын его, Имантай, проучился чуть не целый год в Омске, и этим будто бы он постиг все премудрости русской грамоты, может быть, Имантай продолжал бы и дальше учиться в Омске. Неграмотному же отцу казалось, что его сыну уже учиться дальше некуда. Не мог неискушенный в учении аксакал знать, что истинная наука - дело всей жизни. И вот теперь Имантай не хочет, очень не хочет, чтобы его дети к старости пришли к тому же, что и он, старый их отец. Надо их учить. Но будут ли они учиться? Заложил ли аллах в их душу вечное, благородное любопытство? Будет ли учиться долго и упорно Бокеш? Ах, Бокеш, Бокеш... Недаром говорят, что лишь отец может точно судить о достоинствах и недостатках сына своего. Способный, неглупый мальчик, но, по всему видно, если аллах даст ему здоровья и будет щитом от несчастий, вырастет он суетным и честолюбивым человеком. Долго и терпеливо не сможет учиться, поглотят его степное удовольствие и заботы, степная борьба за власть и влияние.

Вся надежда на младшего, на Канышжана. Медлителен он и спокоен для своих восьми лет. Рассказывают, что вот так же медлителен и спокоен, даже немного вял был в детстве Абай. Но когда Кунанбаю один из его друзей, похвалив шустрых братьев Абая, тут же сказал, что из этого сопливого увальня толку, наверное, не будет. Кунанбай, говорят, ответил, как отрезал: «Вся надежда моя на этого увальня, он должен умом всех превзойти!» Имантай не считал себя таким

проницательным, как отец Абая, Кунанбай, но все же имел большие основания надеяться, что Каныш вырастет не таким, как все остальные многочисленные внуки и правнуки дела Сатпая. Мальчик, казалось, был таким, как и все другие дети,

цельми днями предавался ребячьим забавам, задавал старшим вечные вопросы: «Почему? Отчего? Но он иногда по-взрослому морщил лоб и заводил такие разговоры, что пораженный Имантай-аксакал не хотел никому о них говорить, боясь языка и глаза.

- Отец, - обратился Канышжан недавно, когда они остались наедине, - Вы говорите, что мы - мусульмане, у нас правая вера.

Оттого у нас все начинается справа. Берем все правой рукой, надеваем шаровары с правой ноги, книги святые открываются справа. А почему мы на коня садимся слева?

- Потому что так удобнее, - ответил опешивший Имантай.

- Если бы мы привыкли садиться справа, тоже было бы удобно?

- Да, сын мой, может быть, и так?

- Тогда необязательно, если неудобно, все справа делать?

- Да, сын мой!

- Аллах не рассердится?

- Думаю, не рассердится.

Получилось так, что разговор вел маленький Каныш, и получал

он те ответы, которые хотел получить.

В другой раз мальчик неожиданно задел извечно тяжелые вопросы веры.

- Отец, мулла говорил мальчикам, что все, кто крестятся, кафиры, они не верят в аллаха и очень плохие, проклятые богом люди. Наш тамыр Андрей тоже не верит в аллаха и тоже очень плохой человек?»

- Нет, мой сын, аллах один. Тамыр Андрей верит в аллаха, но только неправильно, по-своему. К тому же ты знаешь, что он очень хороший человек.

- А если нехорошей веры, значит он все-таки кафир. Аллах его не должен любить?

- Нет, аллах его любит... Он когда-то ошибся, попал в нехорошую веру, а ошибки аллах прощает.

- Тогда мулла неправду говорит?

- Нет, мулла правду говорит, но ты это поймешь потом, когда станешь взрослым.

Имантай понял, что попал в ловушку, отвечая на наивные вопросы сына. Он чувствовал, что продолжение разговора не будет иметь более удовлетворительного окончания, и к тому же ему не хотелось подводить муллу, у которого вскоре сын будет брать уроки шариата. Он понимал также, что подобные

разговоры не прибавляют ничего к его авторитету, и когда сын станет взрослее, сразу разберется, что старый отец, которого все в округе считают много знающим и толковым человеком, на самом деле небогат умом и оттого робок душою. Но этим и отличался мальчик от Бокеша и от всех других детей аула, и это понимал только один Имантай, другие же не обращали, да и не могли обратить на это внимания. Никогда никому не скажет Имантай о своем открытии и о своей уверенности в младшем сыне, но в сердце своем все помыслы обратит к тому, чтобы Канышжан учился сколько нужно. Единственного он будет бояться - что аллах заберет раба своего Иманта раньше, чем он увидит плоды учения своего младшего сына. Вот почему обычное для аулов и степных семей событие, когда очередной мальчик вместе со многими другими должен был быть отведен к мулле, чтобы научиться читать молитвы и обращаться к аллаху, так взволновало аксакала. Вот почему обычно скуповатый аксакал распорядился резать стригунка на той, а другого стригунка велел держать на привязи, чтобы мулла Нигметулла наложил на подарок в честь начала учения Каныша свою метку.

Утро. Каныш встал рано. Он возбужден. Сегодня начинается для него новая жизнь. Он идет к мулле учиться. Он научится теперь читать и писать не хуже, чем Бокеш. Вчера, в пятницу, в день мусульманского отдыха, дом был полон гостей. Аксакалы, насытившись вкусной жеребятиной и осенним кумысом благословляли маленького Каныша на подвиги в постижении мусульманской грамоты и учения пророка. Молодые в отдельной комнате затеяли веселые состязания и игры. Один жигит из соседнего аула пропел, аккомпанируя на домбре:

*Сын большого отца Канышжан,
Тебе глубокий разум аллахом дан,
Будешь мудрым, сильным жигитом,
Начинай, Каныш, зубрить коран!*

Все почему-то засмеялись. Смеялся и сам джигит, пропевший четверостишие. Мальчик так и не понял причину этого веселья.

Каныш, одевшись во все новое, специально сшитое для него (недаром же Нурым с женой брата Абсаяма трудились несколько дней), уже давно не находит себе места в комнате, а отец спокойно и долго, как ни в чем не бывало, пьет свой утренний чай. Наконец, он приподнимает руки на уровень груди, раскрывает ладони, бормочет краткую молитву и произ-

носит «Алла акпар», сводя ладони на лице, что означает - конец чаепития. Нигметулла приветствовал Имантая-аксакала перед своим домом. В передней, куда они вошли, с десятка мальчишек аула сидела на корточках и жужжали вразброд, читая и разучивая заданное. В дальнем углу сидел друг Каныша Жумаш, держа перед собой палочку, на которой был прикреплен листик бумаги. На бумагу эту Жумаш смотрел с испугом, не зная, что с ней делать. Мулла взял Каныша за руку, повел в передний угол к окну, близ толстого одеяла, на котором он, по-видимому, сидел сам, Каныш рванулся было в дальний угол к Жумашу, но мулла твердо удержал его и посадил на то место, к которому привел, Мальчик еще не совсем понимал, что мулла хочет отличить его, ведь он сын Имантая, бия и старшего в роду. Мулла проворно вернулся к дверям, помог аксакалу снять верхнюю одежду и повел его в другую дверь, ибо отпускать аксакала, не попотчевать с утреннего дастархана, не принято. Стоило мулле вслед за аксакалом пройти в другую комнату, как все расслабились, стали смотреть по сторонам, но продолжали жужжать, умело имитируя, то, что должно быть в присутствии муллы. Брат Карим вдруг бесшумно поднялся и точь-в-точь показал, как мулла встречал дядю Имантая. Это развеселило Каныша, хотя, то, что потом следовало, Канышу не понравилось. Один из мальчиков, не выдержав, было засмеялся, Карим быстро подскочил, грубо дернул его за нос вниз, чтобы тот продолжал «читать», ибо дверь горницы оставалась полуоткрытой. Канышу не понравилось, что Карим в отсутствие муллы чувствовал себя хозяином этой комнаты: одному дал подзатыльник, другого дернул за ухо. Каныш удивился, что оба мальчика восприняли такое наказание как должное. Карим подступился было к четвертому, но тот приготовился к отпору, и Карим, поняв, что уже заходит далеко, как ни в чем не бывало, сел на свое место, будто почувствовал, что возмущенный Каныш вот-вот вцепится, защищая обиженных и поднимет шум. Карим на самом деле опасался этого, - не раз пробовал подчинить этого медлительного сопляка своей воле, но мальчик молча переносил побои сильного Карима, ни шагу не делая навстречу его желаниям. Карим, наконец, перестал трогать его, боялся, что его поведение станет нежелательным примером для тех, которые безропотно ему подчинялись. Каныш, обычно спокойный, был на самом деле возмущен. Его детское сердце не выдержало, когда он заметил, как и без того оробевший Жумаш, видя, как хозяйничает Карим, и вовсе сжался в какой-то жалкий комочек.

Он сразу понял, что поднимать шум в этой комнате не положено и молча поднялся было, чтобы одернуть зарвавшегося Карима, как вдруг увидел раскрывшуюся дверь и выходящих отца и муллу. Имантай-аксакал не стал, по-видимому, задерживаться за гостеприимным дастарханом хозяина, так как пришел с утреннего чая.

Мулла вернулся, его лицо стало беспристрастным и суровым, сел на свое место, оглядел рьяно трудившихся учеников и вдруг, увидев Каныша, спохватился, приподнялся и достал из-под одеяла, на котором сидел, тонкий таловый прут, пригрозил, видимо, по привычке, ученикам и положил рядом с собой; потом еще раз приподнял одеяло и вытащил листок бумаги, прищемленной к раздвоенному концу палочки: точно такую палочку в дрожащей руке держал Жумаш. Каныш взял эту палочку с листком, он знал, как ее держать, так как не раз заглядывал в окно дома муллы. «Бисмилла иррахман иррахим» - развернул ладони перед собой муллы. Проворно развернули ладони и ученики. «Положите рядом!» - это, видимо, относилось к новичкам, которые не знали, что делать с листком на палочке». «Бисмилла иррахман иррахим!» - повторил мулла и свел ладони на лице. Ученики повторили то же. Все поняли, что это «бисмилла» относилось к началу чения раба божьего Каныша, сына Имантая. Каныш уже знал, что на листке нарисованы буквы алиппе, но что алиппе означает по-казахски переиначенные первые буквы арабского алфавита алиф-би, Каныш, конечно, понял позднее. Правда, он уже давно усвоил от Бокеша, что палочка, нарисованная торчком на правом верхнем углу листка называется алиф. «Почему она, эта палочка, называется алиф?» - спросил он как-то у Бокеша. «До чего же ты бестолковый, - ответил тот, - да потому что тебя зовут Каныш, а меня Бокеш, лошадь называют лошадь, а барана - бараном!».

Все ученики, кроме Жумаша и Каныша, были второго и третьего года обучения, а некоторые даже четвертого, так как не усвоившие то, чему учил мулла, могли учиться до тех пор, пока мулла не увидит, что продолжать безнадежно. Они все учились уже по книжкам: одни держали тоненькую книжку «Иманшарт», другие - потолще «Ал-тиек», а Каныш и еще один мальчик читали толстый коран. Все эти книги изучал Бокеш, и Каныш хорошо усвоил их названия.

Учение Каныша и Жумаша началось просто. Мулла сказал: «Алиф. Повторяйте, Каныш, Жумаш, за мной, а вы потише учителе!» - обратился он к остальным ученикам. «Алиф!» -

повторил Каныш и Жумаш. «Повторяйте, продолжайте!» «Алиф» Алиф!» - забормотал Каныш и Жумаш. Канышу вначале это показалось интересным, и он от удовольствия даже закрыл глаза. Они уже не помнили, сколько они бормотали, у них сводило ноги, мало привычные к сидению на корточках. К счастью, мулла несколько раз выходил ненадолго, за это время ученики успевали немного размяться. В один из «перерывов» Карим вскочил, сел на место муллы и, подняв лозу, сказал: «Каныш, Жумаш, повторяйте за мной!» Все прыснули, еле сдерживая громкий смех. Мулла, входя, заметил, что Карим в его отсутствие не сидел на своем месте. Он проворно взял лозу и молча стегнул Карима по спине, тот слегка поморщился и тут же, как ни в чем не бывало, принялся бубнить свой коран. Видимо, это было для него не впервые. Каныш вздрогнул, пошевелил плечами и спиной, как будто лоза прошла по нему, и по-взрослому подумал, что не стоит баловаться, если возможно такое унижительное наказание.

«Ну как, выучил?» - обратился мулла к Канышу. «Я эту букву . знал давно!» - ответил Каныш. «Я тебя не спрашиваю, знаешь или нет, я тебя спрашиваю, выучил или нет?» «Выучил. Алиф...Алиф...»-забубнил Каныш, усиленно повторял за ним Жумаш. «Теперь вторая буква - би, - сказал мулла, - учите: алиф, би, алиф, би!» «Алиф -би, алиф - би», - забормотали Каныш и Жумаш. Такое бормотание продолжалось до вечера с перерывом на обед. Перерыв показался очень маленьким, хотя Каныш, быстро поев, успел поиграть в асыки. После первого же дня учебы у Каныша пропало желание заниматься у муллы, но он знал, что никому не может этого сказать, кроме своего друга Жумаша. Тот совершенно потерялся, когда однажды Каныш заговорил с ним о том, как неинтересно учиться, но что все равно верным сынам аллаха необходимо, несмотря ни на что, брать уроки у муллы (он повторял не раз слышанное дома), Жумаш угрюмо замолчал. Больше Каныш с ним на эту тему не заговаривал.

Мулла каждый день прибавлял по букве, разучивание сводилось к повторению названий всех букв, которые выучены до этого, с прибавлением названия новой буквы: «Алиф - би - ти!», «Алиф - би - ти - си!», Алиф - би - ти - си - жум!» Всего было 29 букв. В первый же месяц Каныш выучил все буквы со своего листка и без запинки называл букву, на которую мулла указывал на его листке. Жумаш безнадежно отстал от него. В его голове названия разучиваемых букв в результате выбранной муллой методики обучения превращались в ежеднев-

но удлиняющееся одно слово, и выбор из него какого-то коротенького обрывка, соответствующего именно той букве, на которую указывал мулла, представлял для него страшную трудность. Он терялся и выпаливал более длинный, чем нужно, обрывок. Мулла указывал «ти», Жумаш же говорил: «тиси», мулла указывал на «ре», Жумаш же называл: «ре-зи-сын!» Мулла поднимал угрожающе свой прут, Жумаш сжимался, на глаза навертывались слезы. К чести муллы Нигметуллы нужно сказать, что он, хотя угрожающе и поднимал прут, но, будучи по природе добрым человеком, за незнания, как правило, не наказывал, если не видел, что это результат нарочитых шалостей. Жумаш же был смиренным мальчиком.

Каньишу было жалко своего друга, и, когда они оставались вдвоем, он фантазировал перед ним, вычерчивая палочкой буквы на полянке, где они обычно играли в асыки.

- Все начинается с этой палочки «алиф». Алиф - волшебная палочка, она как бы живая, захочет, может стать любой другой буквой. На услужении у нее ее нокеры, как у хана или султана. Нокеры - это точки, которые мулла называет нокат. Вот она справа, в углу, торчком, одиноко стоит, и мы ее называем алиф. Теперь смотри, какие она, эта палочка, будет чудеса вытворять. Легла на бок, вытянула концы, чуть загнула их вверх, шагнула к точке - нокат, а нокат тут как тут под ней. Теперь она уже не «алиф», а гордый «би». У нее, видишь ли, на услужении нокат появился, она стала бием, господином. Может жить, лежа на нокате. Но лежать так долго она не может, ее тревожат враги. Смотри, перебросила нокат через себя наверх, призвала на услужение еще один нокат, и теперь уже говорит врагам своим: «ти!» - попробуй, тронь! Она, видишь ли, оттого осмелела, что у нее, у лежащей палочки с загнутыми вверх концами, два ноката сверху на защите. Хоть и грозила, но ее, дурочку, видать, страх обуял, призвала на себя третьего ноката. Получился, смотри, конфуз, смех. Придавили ее палочку, три ноката, говорят:

«Си!» - «Помочись», вроде бы легче станет. Хоть и конфузная, но новая буква. Палочка-то наша не-простая, разозлилась она дерзости нокатов, окинула их, встала торчком, верхний конец угрожающе загнула назад, влево, а снизу стала полукругом выгибаться, кончик выдвигая вправо, чтобы сдавить предезких нокатов, но они стали разбегаться и в полукруге остался лишь один, робкий и послушный. Теперь уже «жум» - «сожми», т.е. сожми в кольцо, но поскольку два ноката сбежали, а последний струсил и сбежать не собирается, в кольцо снизу

палочка не стала сжиматься, и осталась полукругом, полукольцом. И напрасно, смотри, нокаты одурачили: «хи!» - хи-хи-хи!-смех. До это теперь уже новая буква.

Жумаш был поражен: надоевшие из-за ежедневной зубрежки, неживые неприятно мельтешившие перед глазами каракули разнообразной формы, называвшиеся буквами, вдруг ожили, приобретая интересный, увлекательный смысл. Эти вызывавшие смятение в его робком мозгу 29 завитушек с точками свелись вдруг всего лишь к волшебным превращениям одной и той же хитро вывертывающейся, выкручивающейся, взвивающейся палочки-змеи и трех нокатов, исчезающих и выскакивающих по ее воле. Особенно ему стало смешно, когда палочка легла на спину, в правой половине выкинула вверх две торчащие петельки, чуть загнула вверх же правый кончик, а левой частью выгнулась в большое обратное коромысло и назвалась ни с того, ни с сего «сын» - ломайся. Чего уж тут ломаться, когда вся перекрутилась! Стало еще смешней, когда переломилась в середине и превратилась в скромный уголок с торчащими вверх в разных направлениях по сторонами и назвалась длинней всех: «дамалип». Маленький Каных не знал и не ведал, как его разыгравшаяся фантазия помогла другу, быстрее отличить буквы арабского алфавита и запомнить их названия, как впервые в жизни преподавал уроки занимательного, образного, популярного, понятного изложения трудно воспринимаемых с первого раза условных понятий и обозначений, с познания которых начинается постижение научных истин. Он не знал и не ведал, что мозг его обладает особым природным умением воспринимать новое в сопоставлении, в сравнении со смешанным: выделенным, вычитанным до этого, редким даром легко разгадывать суть нового и передавать, пересказывать понятное и усвоенное в живом, образном отражении, и что теперь вся его жизнь будет сводиться к тому, что он ранее и быстрее других постигнет жизненные и научные истины и с душевной щедростью творца будет одарять ими других, возбуждая у всех, кто к нему будет прикасаться, постоянное любопытство, вечный интерес к жизненным проблемам, к новому и неизведанному. Он не знал и не ведал, наивно выкладывая нехитрые ассоциации, сложившиеся в детском мозгу, другу Жумашу, что этим самым он стал выше на голову своего муллы Нигметуллы, чей окостеневший ум ни разу не осмелился выйти из пределов нелепо-примитивной зубрежки, которую он считал раз навсегда установленным от самого пророка методом обучения и которая у бесчис-

ленного множества детей в степях безнадежно и навсегда погубила живые ростки, тянувшиеся к свету, к знаниям.

Освоение арабской азбуки алиппе между тем продолжалось. Оказалось, что выучить названия букв - это еще только начало, цель заучивания детям была недостижима, а в городе говорили, что это делается муллами для того, чтобы размягчить язык и сделать его достаточно эластичным и гибким, чтобы четко произносить трудно выговариваемые слова корана. Все 29 букв арабского алфавита, кроме буквы алиф, были согласными. Имелись знаки (короткая черточка, запятая), которые нужно было расставлять вокруг буквы, чтобы данна согласная произносилась совместно с соответствующей гласной: би, ба, бо, бу; ти, та, то, ту и т.д. Но почему-то надо было заучивать не просто эти слоги, а прилагая к ним соответствующее слово: бисин би, бисин-ба; тисин-ти, тисин-то и т.д. Подобная зубрежка продолжалась утомительно долго, так как каждая согласная произносилась столько раз, сколько было приставленных к ней гласных и количество разучиваемых букв и знаков увеличивалось в несколько раз. Произношение каждой согласной могло быть мягким, своенным, и на это были знаки, называемые санин и таштит. Словом, волшебная палочка - змея Каныша продолжала видоизменяться, приобретая все новые формы произношения, в зависимости от того, какой дополнительный знак стоит сверху или снизу. В три месяца Каныш знал все это наизусть; Жумашу приходилось трудно, он отставал: уже наступила весна, а он все еще продолжал разучивать алиппе. А Каныш уже перешел к слитному чтению, легко поняв на примере восьми надуманных, не имеющих смысла словах абжада (абжад, хауаз, хутти и др.), как складываются арабские буквы в слова. Это был незабываемый, упоительно-интересный момент. И все же ощущение счастья у него было неполным: ему было жалко Жумаша. На него не производило впечатления то, как разученные ими буквы складываются в живые, обычные и необычные слова, причем, смотря по занимаемому месту, слова видоизменяются. Например, попадая в середину слова, буквы от тесноты, не сжимаются, а, как убегающие ящерицы, оставив хвост, когда на него наступишь, срезают, сбрасывают головку и хвост, оставляя лишь среднюю часть - тело. Зато как был рад Каныш, когда в начале следующего года Жумаш стал соображать в чтении, находя буквы в печатных словах и понимая, почему они, примыкая в определенном порядке друг к другу, образуют слова. Он уже безошибочно узнавал в изуродованных обрубках, находящихся

ся в середине слова, первородную букву.

- Каныш! - строго обращается мулла. Мальчик прикладывает ладонь правой руки к груди и почтительно склоняет голову. Ты - мусульманин.

- Альхамдилалла (слава богу), я - мусульманин.

- Я сомневаюсь, что ты мусульманин.

- Вы сомневаетесь, но у меня есть доказательства.

- Какие доказательства?

- Бог един, а Мухаммед его пророк.

- С каких пор ты мусульманин?

- Со времен альмисаха...

- Что означает альмисах?

- Это означает - с сотворения человека...

- Делами имана с мусульманин...

- А что означает иман?

- Иман означает истинная, проникновенная преданность и осознание, что аллах един, а Мухаммед свят.

- Ты чей раб?

- Я раб единого аллаха...» Так начинался «Иманшарт», который наизусть читали сегодня мулла и его ученик Каныш. Эта маленькая книжка была дорога для мальчика: по ней он впервые понял, что может читать и любую другую, написанную арабскими буквами. Он любил эту книжку, несмотря на нелепое, совершенно не располагающее детскую душу содержание ее. Брошюрка эта повествовала о том, что должен делать мусульманин, чтобы стать истинно правоверным, возвысив свою душу иманом, оттого и называлась «Иманшарт» (условия истинной преданности аллаху) - условия стать истинно преданным аллаху и его пророку Мухаммеду. Она была составлена из вопросов и ответов, которые каждый правоверный должен был выучить наизусть. Вначале вопросы и ответы сводились к тому, чтобы утвердить учащегося в том, что он истинный мусульманин, верует одному аллаху и следует заветам его пророка. Вопросы задавались многократно и ухищренно, а ответы сводились к тому, что отвечающий - раб аллаха и не имеет сомнений в своей вере. После установления подобным способом незыбленности веры учащегося в аллаха и его пророка, в вопросах и ответах излагались условия, которые должен соблюдать мусульманин, дабы не сойти с пути истинного: детально описывались порядок совершения намаза и предполагаемого к каждому омовенья, условия мусульманского поста-уразы, оговаривались систематические жертвоприношения со стороны каждого правоверного на алтарь

истинной веры и др. Странно звучала эта книжка при устном чтении. Большинство слов и предложений, кроме тех, которые были прямыми извлечениями из корана, было понятно по смыслу, но казалось, что книжка нарочито ломает, коверкает, переиначивает родной язык, чтобы он звучал необычно и этим удивлял читающего. Маленький Каныш не знал, конечно, что «Иманшарт» в основе составлен на мертвом чагатайском наречии, на котором нигде никто уже не говорил, но почему-то считалось, что для таких божественных книг, подобных «Иманшарту», оно более подходит. Канышу так хотелось иногда задать вопросы по содержанию «Иманшарта», но мулла строго предупредил, что обсуждать святыя писания - большой грех, их надо знать наизусть и исполнять.

На втором году обучения Каныш, выучив наизусть «Иманшарт», перешел на новую книжку, называемую аптиек. Мулла разъяснял, что аптиек - это ключ к чтению самого корана, потому что «тиек» по-казахски ключ. Мулла, по-видимому, не знал, что аптиек на самом деле по-арабски означает один из семи, ибо апта - семь, ап - один. Эта книжка содержала отдельные, отобранные суре (главы) корана и представляла собой брошюрку на одну седьмую часть книги пророка. Аптиек читался нараспев, арабские слова его были совершенно непонятны, переводить и толковать их не разрешалось. Мулла следил за произношением, за напевностью и благозвучием голоса. Некоторые суре из аптиек разучивались наизусть, например, такие, как «Ясин», «Хулхуалла» и др. Это означало, что Каныш уже мог сам прочитать молитвы на могилах предков за упокой души их, прославляя аллаха и его пророка.

Каныш был безмерно горд, когда он впервые сам прочитал молитву на могиле предков. Они с аже Нурым пошли в большой аул и, возвращаясь, свернули к родовому кладбищу. Это случилось каждый раз, когда они ходили в большой аул, где жили семьи младших братьев Имантая - Жамина и Зеина. Аже Нурым, подойдя к кладбищу, почтительно садилась неподалеку и начинала шепотом читать молитву. Каныш тоже садился рядом и дожидался, пока мать поднимет ладони и после кратких завершающих слов молитвы сомкнет их на лице. Задача Каныша заключалась в том, чтобы проделать то же, что и аже Нурым. В этот же раз аже Нурым неожиданно обратилась к нему: «Канышжан, прочитай «Жасын». Ты теперь у нас взрослый, много молитв знаешь!» Молитва называлась «Ясин», а не «Жасын», аже произносила неверно, но мальчик понимал, что аже все равно не сможет произнести это слово пра-

вильно. Он сел на-корточка, сказав «Бисмилла!», по-взрослому провел ладонями по лицу сверху вниз, положил их на колени и стал нараспев читать молитву. Было морозно, аже, видимо, стала дрогнуть, сидела беспокойно, снег под ней поскрипывал. Маленький же сын, войдя в азарт, закрыл глаза, как будто прислушиваясь к своему напевно воркующему голосу. Он читал нараспев, не зная смысла того, что читает, но зато был твердо уверен, что так угодно аллаху, пророку, аруахам (духам предков), и им все понятно и приятно. Ему казалось, что его предки (дед Сатпай и другие) внимательно слушают и сердятся таким грамотным и набожным наследником их дел. Аже Нурым впервые узнала, что «Жасын» такая длинная молитва, она не ведала, что все другие, кто читал при ней «Жасын», либо не знали его полностью, либо нарочито, смотря по обстоятельствам, укорачивали. Мать и сын вернулись домой счастливые и радостные, удовлетворенные исполненным долгом перед аруахами, духами предков.

Где-то в зиму второго года обучения мулла велел принести из дому коран. Узнав об этом, Имантай-аксакал радостно встретился (даже Бокеш так быстро не справился с Аптиеком!), хотя внешне не изменил привычной степенности, когда Нигметулла пришел поздравить его с таким знаменательным и радостным событием. Переход к чтению корана считался действительно большим событием в аульной жизни. Ученики аульных мулл вообще редко доходили до корана, а если доходили, то где-то на четвертом и пятом году обучения. Бокеш - самый способный мальчик из тех, которых обучал мулла Нигметулла, и тот перешел к корану к началу третьего года обучения. Имантай-аксакал не мог не отметить такую важную веху в жизни своего младшего сына, да и прибавление в семье еще одного, умеющего читать коран, было благим знамением перед аллахом. Снова были созваны гости, снова было шумно в доме Имантая и его старшего сына Абсальяма. Несколькими днями подряд приезжали к Имантаю аксакалы из соседних аулов с поздравлениями и пожеланиями здоровья и дальнейших успехов его сыну Канышу.

...

- Бокешжан шел-шел за мудростью справа налево да запутался, пришлось распутывать - пошел обратно слева направо и, слава аллаху, за три года вернулся, правда, в голове ничего не осталось - все распуталось и улетело... Теперь Канышжана надо распутывать, но этот брат не скоро вернется - он не та-

кой торопливый, как Бокешжан. Смотри, Каныш, совсем не застрянь! - сказала не лезшая за словом в карман сестра Газиза, заканчивая свою ехидную речь в рифму, когда стало известно, что отец собирается вести Каныша в соседний Шормановский аул в русскую школу.

- Перестань болтать... Путать - распутать. Разве такое говорят перед началом благого дела... Бокешжан, слава аллаху, все мудрости постиг - читает и пишет и по-своему, и по-русски, коран лучше всех в ауле читает... И Канышжан, дай аллах ему здоровья, выучится не хуже... - строго прервала свою чересчур смешливую дочь аже Нурым.

Когда пересказали слова дочери Имантаю-аксакалу, он внутренне улыбнулся - не передалась детям молчаливая суровость отца, все они были в покойную Алиму: не упускали случая сказать острое слово. И ведь вправду получается так: мулла учил детей небесным мудростям, угодным душе каждого мусульманина, а русский учитель возвращал их обратно на землю, обучая грамоте, необходимой в обыденной жизни... Но на одно не обратил внимания аксакал в случайно оброненной шутке дочери, на то, что на этом «обратном» пути хождения за мудростью его младший сын действительно застрянет и застрянет на всю жизнь...

...Новый мулла, к которому привел Каныша отец, был знаком давно. Это был Гриша, который часто заезжал в аул, балагурил со сверстниками, оставался на угощение, сопровождая все свои действия шутками на ломаном казахском языке, потому что он был ногоем, татарин. До Гриши Каныш знал лишь одного ногоя - бакалши (бакалещика) Нурислама, разъезжавшего летом по аулам. Обычно дюжий и смирный гнедой конь, неторопливо таща за собой широкую телегу, на которой удобно разместились хозяин и большой кованный сундук, останавливался в самом котане - середине площадки перед юртами. Это был праздник для аула: все сбегалось, устремляя глаза к раскрытому сундуку, полному разнообразных и разноцветных мелочей, приобретение которых для аульчан было давно желанной мечтой. Девушки тянулись к лентам, туалетному мылу и одеколону, женщины - к иголкам, гребешкам, ниткам, пуговицам... Каныш и его друзья были счастливы конфетами мампаси (монпасье), которые они сосали с перерывами, вынимая периодически изо рта и бережно сжимая в грязных ладонях, чтобы растянуть наслаждение. И все же раскупалось не очень много: не у всех имелись деньги на такие приобретения. Это было видно по печальному лицу Нурислама,

когда он молча заходил в ближайшую юрту, пил чай и кумыс и отправлялся в следующий аул.

Этот новый ногай, учивший Бокеша писать и читать слева направо - маленькому Канышу показался странным. В том, что он действительно ногай, мальчик не сомневался: Гриша многие казахские слова произносил точно так, как бакалши Нурислам. Но ему было непонятно, почему этот ногай носил такое же имя, как младший сын тамыра Андрея. Нурислам же - казахское, мусульманское имя, недаром бакалши - ногай, приезжая в аул, не забывал совершить положенные намазы, прочитать по усопшим молитву. Гриша же к мусульманским молитвам относился как русский: он сидел безучастно, когда все раскрывали перед собой ладони, вознося аллаху слова корана. Отец пояснил, что Нурислам - мусульманин, правой нашей веры, а Гриша - русской веры.

- Почему русской веры? Он продался кафирам, он - плохой человек?

- Нет, он неплохой человек. Давным-давно его предков насильно заставили перейти в русскую веру...

- Почему он не вернется к нашей правой, хорошей вере?

- Потому что нельзя, он не лучше своих предков...

- А кто насильно заставил менять веру? Русские? Значит, это плохие русские, не такие, как наш тамыр Андрей?

- Да, заставили насильно. У каждого народа имеются и плохие, и хорошие люди. А вообще, все насильники - плохие люди.

Этот короткий разговор навел на беспокойные размышления и сына и отца. «Все насильники - плохие люди». Ему стало до слез жаль и Гришу, и его предков, которых большие рыжие люди в кольчугах, вооруженные ружьями и мечами, били и заставляли купаться в ледяной воде и затем креститься. О том, что кафиры перед тем, как крестить, купают человека в холодной воде, он слышал недавно: мулла Нигметулла толковал перед своей юртой аульной молодежи о жестокостях крещеных, которые даже младенца, чтобы он остался на всю жизнь кафиром, окунают в ледяную воду. А потом стало жалко и себя: не далее, как вчера брат Бокеш избил его за то, что он, замечтавшись, прозевал мяч, и команда брата проиграла. Почему родной ему человек такой насильник, неужели он будет, когда вырастет, плохим человеком? Отца же привел во внутреннее замешательство наивный вопрос сына о выборе веры. На самом деле, если наша вера правая, если она праведнее, справедливее и более угодна богу, чем вера крещенных (аксакал к тому же не знал, что, кроме этих двух вер, существует

еще много других), то почему, например, такой разумный человек, как Гриша, сам добровольно не вернется в веру предков? Тем более, как он рассказывал, у него много родственников-мусульман... Почему обязательно необходимо насилие? Ведь по преданиям, и наши предки не были испокон веков мусульманами, а стали ими под угрозой силы? В смятении он отгонял от себя мысль, что все веры в своей сути одинаковы и придуманы, может быть, для того, чтобы люди вечно враждовали между собой... Ему казалось, что эти несправедливые, крамольные соображения ему нашептывает шайтан, вкладывая в наивные уста невинного мальчика-саби такие беспокойные вопросы. В то же время аксакалу приятно было находить все новые подтверждения своей, тайной уверенности в необыкновенных задатках младшего. Он знал хорошо, что способности, дарованные природой, могут стать в одинаковой степени причиной как счастья, так и несчастья. Аксакал молил аллаха, чтобы его Канышжана сопровождало счастье на жизненном пути.

Когда отец привел Каныша в школу, мальчик пришел в сильное волнение: перед ним стоял не тот, одетый по-степному, обыкновенный и простой Гриша-агай, не раз ласково гладивший его по головке, а кто-то похожий на того урядника, которого он видел на ярмарке в Баян-ауле и которого, как он замечал, все боялись. Откуда было ему знать, что учитель считался государственным служащим и на службе обязан был носить форменный мундир. От волнения мальчик не обратил внимания на то, как сидевшие за партами 10-12 учеников при входе их поднялись с места и сказали: «Здравствуйте!» Не слышал, что говорили между собой Гриша и отец, и не заметил, как последний ушел. Новый ученик пришел в себя только тогда, когда Гриша-агай, со знакомой ласковостью погладив мальчика по голове, усадил его за парту.

Каныш был поражен всем, что произошло в этот день. Началось с того, что отец повел сына не прямо в школу, которая, как рассказывал брату Бокеш, находилась в доме другого внука Шормана - Жаржана, а почему-то в дом Садуакаса. Отец, правда, пояснил, что этот аксакал является главным старшиной по русскому обучению детей и обязательно надо принять его благословения - бата, Садуакас благословил мальчика так, как умеют благословлять, давать бату, все аксакалы степей, направляя молодых на новое дело. Только закончил аксакал свои пожелания необычно: «Пусть Канышжан станет разумен и учен, как Афлатон». Слово «Афлатон» показалось мальчику

звучным и красивым, он запомнил его и как только вышли от Садуакаса, спросил у отца, что оно означает. Отец ответил, что это имя великого мудреца, жившего давным-давно.

В степях в те времена главным учителем был мулла, и поэтому всех, кто учил, называли «муллами». У нового муллы Гриши-агая все было по-иному, чем у старого Нигметуллы. Эти длинные столы-парты, за которыми занимались ученики, такие длинные скамейки, на которых сидели по трое. Мальчик, два года просидевший на корточках перед муллой, сразу оценил удобства парты, а когда перед ним Гриша-агай положил остро очиненный карандаш, тетрадь-и новенькую книжку с затейливыми рисунками - ощутил прилив радости, запомнившейся ему на всю жизнь. Хотя такую книжку и тетради он видел у Бокеша, но когда Гриша-агай положил их перед ним, лично для него, это вызвало совсем другое ощущение. Гриша-агай велел листать книгу и смотреть рисунки: и книга, и рисунки были знакомы, но он усердно листал ее, потому что теперь это была его книга. Новый мулла продолжал заниматься с другими учениками. Листая книгу, мальчик прислушивался к тому, как ведет себя Гриша-агай с учениками. Он ничем не напоминал муллу Нигметуллу: не грозил никому ни словами, ни розгой, но каждый, кого он спрашивал, вставал. Многие отвечали ему совсем непонятно для Каныша, т.е. полностью по-русски, а другие, еще, по-видимому, недостаточно освоившие, отвечали и по-русски, и по-казахски, поясняя смысл сказанного по-русски на родном языке. Когда Гриша-агай обратился к новому ученику, тот сидел, радостно и восхищенно смотря в лицо новому мулле. «Каныш, когда я к тебе обращаюсь, ты должен вставать, - сказал он ласково, видя, что мальчик и не думает подниматься с места. Сразу же запомни, что я не мулла, а мугалим. Можно меня называть, как и раньше, Гриша-агай, но правильнее Григорий Васильевич. Повтори». «Грыгорбаси-лиш». Кто-то из мальчиков прыснул, но сразу утих под строгим взглядом Гриша-агай. «Ты неправильно произнес, - сказал Гриша-агай, - это потому что ты не русский. Я не казах и, хотя знаю казахский язык произношу слова на татарский лад. Я стараюсь научиться произносить казахские слова правильно, но я - взрослый, у меня язык уже затвердел, и мне трудно, а ты молодой, у тебя язык гибкий, ты по-русски научишься говорить быстро. Бокеш говорит правильно, учись дома у него».

Каныш знал, что он теперь будет учить русские алиппе, и приготовился к нудному разучиванию, которое запомнилось

от муллы. Но ничего подобного не случилось. Гриша-агай написал на доске мелом кружочек, сбоку справа поставил вертикальную палочку, касавшуюся кружочка, чуть загнул ее вправо и сказал: «а» Каныш повторил «а», т.е. раскрыл рот, как учитель, и довольно громко закричал, чуть испугавшись своего голоса. При этом ему вспомнилось каменистое ущелье в Ниязских горах, где он вместе с другими детьми любил кричать «а-а...» и ждать, когда их крик, перекачиваясь со скалы на скалу, обойдет ущелье и возвратится назад. «Это то, что до сих пор ты называл «алиф», а мы просто произносим то, что оно означает в слове», - добавил Гриша-агай. Вывел на доске другой кружочек, потянул от него справа вверх палочку, загнул кончик. Каныш тут же заметил, что палочки в обеих буквахгнулись справа, значит, подумал он, все начертания в русских буквах тянутся слева направо. «Бэ сказал учитель, Каныш повторил за ним. - Это примерно то, что ты называешь «биб». Теперь ты, Каныш, знаешь две русские буквы «а» и «б». Посмотри, какое слово можно составить. Например, «баба» эта по-казахски прадед, прапрадед. Следующая буква «в», но в казахском языке ее нет. Мы к ней еще вернемся. Буква «г» по написанию похожа на арабское «ха». Произнеси ее» - Каныш произнес, но по лицу учителя заметил, что неправильно. «Каныш, ты произнес эту букву от гортани, а ты прижми язык к небу и получится по-русски «г». Вот так. Видишь, как легко. Ну, какое слово можно подобрать? Вот ты ко мне обращаешься «ага». Вот, видишь, немного на русский лад и получается хорошо. Давай придумаем слово, состоящее из теперь знакомых нам трех букв, например, «бага» - цена. Вот видишь, как интересно и легко!» Было на самом деле интересно и легко. Во-первых, русские буквы не имели никаких странных названий, как арабские. Во-вторых, русские буквы, будь они в середине слова или в конце, писались также, как писались отдельно. Но зато почти каждая русская буква еще имела заглавное написание, чего не было в арабском алфавите. Все эти особенности быстро усвоил Каныш и уже в конце первой недели легко читал «Русско-киргизский букварь», обращаясь за пояснениями к отцу и Бокешу, чем изрядно надоедал им. Совершенно простой, по сравнению с арабской арифметикой - аб-жадом, оказалась русская арифметика. Четыре действия арифметики он постиг в какие-то два месяца.

Однажды, уже на втором году обучения в русско-киргизской школе, когда Каныш, стоя перед учителем, весело и звонко прочитал:

*Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...*

И далее приготовился разъяснить, похожа ли степная осень на осень, описанную поэтом, как дверь раскрылась и ввалился известный аксакал Айткожа со своим великовозрастным сыном Кошекком. Высокий аксакал в просторном куче, подпоясанном широким кушаком, и его такой же высокий, как отец, ширококостный сын заняли чуть не полкомнаты. Аул Айткожи зимовал в восьми верстах от аула Шормана, выше зимовки Сатпая, по течению Ащису. Все учащиеся встали и обратились к дверям. Гриша-агай подошел к аксакалу и, приветствуя по-казахски, подал обе руки. В свою очередь Кошек разлаписто протянул к Грише-ага свои руки.

- Уай, Гриша, - заговорил громко аксакал, - ты учишь детей мусульман, ты не сажаешь в их душу кафира? Не будет так, что снаружи мусульманин, а внутри кафир.

- Нет. Айтеке, ни в коем случае, - ответил, улыбаясь, Гриша-ага. - Посмотрите, разве мои ученики не мусульмане? Я учу мусульман читать, писать, говорить по-русски, это нужно в жизни...

- Позавчера приезжал ко мне Садуакас-мырза, этот мой оболтус (при этом он ткнул рукояткою плетки в плечо Кошекку) прочитал послеобеденную молитву... Мырза и говорит: «Парень у тебя хорошо произносит слова пророка, навернде, коран сам читает...» «Сам читает, - говорю, - мулла его хвалит... Во всем ауле он один читает коран...» «Тогда надо его по-русски подучить, пусть в нашу школу идет». «А сможет он там учиться?» - спрашиваю. «Конечно, сможет!» - отвечает мырза. А у себя на уме вопрос: «Там же, в вашей школе, только Шормановы и Сатпаевы учатся... Разве и нашим можно?» Правда, тут же подумал; а разве наш предок - Кулсын не того же Абая, разве он - не единоправный брат Мырзакулу и Жадигеру, от которых произошли Шормановы и Сатпаевы? Почему бы и потомкам Кула не поучиться русской мудрости? Вот и привел с разрешения Садуакаса-мырзы своего болвана. Дорогой Гриша, бери его, мясо твое, а кости мои:

- Нет, аксакал, уже поздно, мы почти месяц занимаемся. Он отстал сильно, в этом году уже поздно, разве в следующем...

Аксакал не понимал, почему поздно, наоборот, он считал; что учиться и учить никогда не поздно. Он решил, что учи-

тель важничает потому, что он не назвал подарок.

- Уай, Гриша, зачем ты так говоришь, приедешь ко мне в аул и выберешь любого стригуна из косяка... Сыновья Кула от сыновей Мырзакула и Жадигера отличаются тем, что не умеют брать, а дарить они умеют не хуже их. Начинай парня учить...

- Нет, аксакал, никакого стригунка мне брать не положено. Я - государственный служащий, получаю зарплату деньгами от государства и школа тоже государственная...

Для аксакала эта была новость: от удивления он снял тымак. Что значит государственная? Значит, школу эту открыл и содержит сам белый царь? Это было не совсем понятно. Разве не Садуакас открыл эту школу, и разве Гриша живет не на харчах Шормановых? И разве школа находится не в доме Шормановых? Видя, как удивленно "установился аксакал, Гриша продолжал:

- Видишь, аксакал, на мне форма государственная, я - государственный служащий... Школа занимает комнату, нанятую на казенные деньги... Но Садуакаса-мырза считается ответственным за содержание школы, и он нам помогает, когда нужно.

- Уай, Гриша, я понял, что ты - человек белого царя, казенный человек. Я первый раз вижу, чтобы казенный человек подарки не брал. Вон урядник, дай только? верблюда со шкурой, с шерстью проглотит... Не стригунка, так коня бери, но парень пусть останется. - Аксакал продолжал думать, что он назвал подарок, не удовлетворивший русского муллу, и в то же время он продолжал настаивать, во что бы то ни стало оставить сына учиться, ибо ему приятно было сознавать, что эта школа не Шормановская, а казенная, и мальчик его будет учиться не по милости Шормановых.

- Хорошо, аксакал, пусть Ваш парень остается, но ни стригунка, ни коня я не возьму.

- Уа, Гриша, мулла, когда ему не делаешь хороший подарок, плохо учит ребенка... Я тебе сделаю подарок, а ты же сделай так, чтобы мой Кошек с русскими мог говорить и сам мог написать подорожные. А то поехал в прошлом году в Кереку, никаких подорожных бумаг не было, поймал урядник, говорит: «Ты - вор», - пришлось откупаться...

Гриша засмеялся и стал прощаться с аксакалом. А большой, нескладный, скуластый Кошек разместился рядом с маленьким Канышем. Он исподлобья, угрюмо и робко смотрел на «учителя», и казалось, главная забота его теперь - куда девать

большие руки: он их прятал под стол, вынимая лишь при особой необходимости.

...Это было летом 1927 года. Кошек с несколькими товарищами из аула приехал в Акмолинск на базар, чтобы продать скот и сделать различные покупки. Айткожа стал стар, и Кошек вел самостоятельно и рачительно хозяйство дома, постепенно становясь ведущим в своем ауле. Остановились у знакомого каржасца, работавшего в одной из уездных канцелярий. Кошек спросил у хозяина о Каныше. Тот ответил, что Каныш стал инженером и во главе русских колесит на машинах по степям в поисках не то серебра, не то золота. Иногда заезжает в Акмолу, чтобы запастись продуктами, набрать горючее и смазку для машин». Мне говорили, что Каныш сейчас находится здесь!» - добавил хозяин, «Как мне увидеть его? - сказал, встрепенувшись. Кошек. «Очень просто, - ответил хозяин, - я знаю, где он обычно останавливается, утром поведу тебя туда, это мне по пути на работу». Кошек плохо спал от нахлынувших воспоминаний детства и еле дождался утреннего чая, после которого хозяин повел его по пыльным улицам города, и, остановившись у большого крытого жестью дома, указал на калитку. Кошек открыл калитку и увидел за ней несколько грузовых машин. Кошек ни разу до этого не приходилось близко видеть такую диковинную штуку, как телега-самоход и, не зная, разрешается ли к ним подходить близко, он переступил порог с большой робостью. На одной из машин возился, что-то переставляя, высокий, худой, загорелый человек в майке. По очертаниям лица, по фигуре Кошек узнал Каныша. «Каныш!» - крикнул он. Тот поднялся во весь рост, чуть постоял, глядя на Кошека, легко спрыгнул с машины и неторопливой походкой направился к гостю. Подавая руки, он узнал Кошека и порывисто обнял его. Кошек ответил тем же. Два здоровых молодых человека, попеременно восклицая: «Кошек, это - ты?!» «Каныш, это - ты?» - мяли друг друга, пока не запыхались.

- Думаю, что это за козлиная борода прется в ворота, оказывается та, Кошек. Товарищи мои еще спят, вчера работы много было. Вот хозяйка ставит самовар, и мы с тобой будем завтракать, - говорит Каныш в радостном оживлении.

- Я только что чаевал. Спасибо, Каныш.

- Никаких спасибо. Как предки говорили: от завтрака не

* У казахов существовало поверье: отказ от завтрака может привести к разладу в семье.

отказывайся, а ужина не дожидайся. Женгей - хороший человек? Бросит она тебя!* А детей много?

- Слава аллаху, двое.

- Мало, мало. Теперь новая жизнь, для ее строительства требуется много джигитов. Надо иметь много детей.

- Уж сколько аллах даровал. Будем надеяться на младших, на тебя, Каныш. Твой отец все роднился с кигчаками, а ты пошел еще дальше - породнил нас с большим народом... Только б не забрали эти новые родственники нашего джигита к себе совсем...не удержался и съехидничал острый на язык Кошек, прослышавший, что Каныш женился на русской.

- Кошек, Кошек! - звонко засмеялся Каныш, - молодец, задел за живое... Зато келин твоя - прекрасный человек. Почему обязательно жениться на своей сестре - надо обновлять кровь, чем дальше предки, тем лучше потомки...А брата твоего не присвоит, не беспокойся... Теперь жизнь и отношения между людьми устанавливаются такие, что каждый гордится своим народом, своими предками, И поэтому, как ты видишь, я на этих машинах по своей исконной земле езжу... Кто меня от этой земли оторвет?'

- Дай аллах тебе здоровья, Каныш. Мы тебя все любим, а говорят про тебя всякое.

Они сели с одного конца длинного нехитро сколоченного из досок стола, и пока хозяйка ставила на стол самовар и разную снедь, Каныш расспрашивал Кошека о родных и знакомых, о житье-бытье в аулах. За разговором Каныш незаметно пододвигал поближе к Кошеку колбасу. Кошек покосился на колбасу?

- Что это мне пододвигаешь?

- Это колбаса по-русски, а по-казахски шужик. Разве не знаешь? Ешь.

- Не буду. Это - еда кафира. Ты - кафиров зять, ты и ешь. А меня не заставляй.

- Ешь, здесь нет свиного.

- Если даже нет свиного, с кафировых рук мясо не положено есть. Мясо животного, которого резал не мусульманин, - харам. Ты же это знаешь. Не заставляй брать на душу грех, Каныш!

Каныш перестал шутить: уж слишком серьезен был его друг в своем суеверии. Кошек, между тем, все поглядывал по сторонам и замечал, что товарищи Каныша, вставшие со сна, почтительно здоровались с ним, не забывая поклониться и Кошеку, или умываться и столь же почтительно садились за стол,

молча завтракали, чтобы не мешать беседе. По всему было видно, что Каныш здесь старший и его почитают. Это нравилось Кошкеу.

- Слушай, Каныш! Одни говорят, что ты помешался на науках и стал чуть ли не диуана - юродивый, а другие - что ты постиг такие науки, которых ни один казах не постигал, и что будешь скоро на самом верху казенных домов. Где правда? Я, как увидел тебя, подумал: не сладко живется - весь обветренный, худой, губы потрескались, таким выглядел раньше байский рабочий на сенокосе. А теперь смотрю, выходят из дома сколько русских, и бородатые и безбородые, и все почтительны к тебе. Значит, ты для них большой человек. Говорят, что ты золото и серебро ищешь в степях? Много находишь? Себе можешь оставить?

- Все верно. Кошек. Человек, который думает над чем-то, часто забывает свои мелкие заботы, подступающие к нему ежечасно, ежеминутно. Книги заставляют думать, и человек, постоянно читающий книги, становится действительно с точкой зрения окружающих как бы юродивым. Когда приезжал в аул, я много читал, не обращая внимания на суету жизни. Уже тогда прослыл немного диуаной. Теперь, поскольку избрал такую специальность, которая оторвала меня от жизни аула, я стал, видать, для вас полным диуаной. Я закончил институт, это означает, что я получил высшее образование. А нас, казахов, закончивших институт, пока мало. Значит, можно сказать, я, действительно, постиг больше других. И я, действительно, работаю в казенном доме, на самый верх не стремлюсь, работы мне хватает и здесь, в степях. Насчет того, что твой друг Каныш знает, хочу сказать следующее. Только ты не качай головой и не думай, что я рехнулся или нарочно рисуюсь, ибо ты мыслишь, раз Каныш закончил институт, он все знает, ему дальше учиться нечего. Друг мой, наука такое дело, что по настоящему учиться я начинаю теперь, после окончания института, только теперь я буду учиться, конечно, не за партой, а работая. Вот посмотри, в кабине машины лежит раскрытая книга, которую я читаю сейчас. А вон тот ящик наполнен книгами, которыми я и мои товарищи пользуемся в работе, учимся, работая, по этим книгам. Смотрю, удивляешься. Удивляйся и запомни. А ты, помнишь, Кошек, как мы с тобой начинали учиться, и как мы подружились. Ты был способный парень и мог закончить институт не хуже меня. Помню, подсел ты ко мне, большой, нескладный и добродушный, и я сразу заметил, какой ты толковый - на грифельной доске ты вслед за

русскими буквами писал их арабские названия и отвечал, не сбиваясь иногда за пояснениями обращался ко мне, как по взрослому. Я этим возгордился, ты подкупил меня. А помнишь, как ты в первый же день позвал меня и других ребят в гости в ваш аул. У меня, как сейчас, перед глазами твой отец: взял букварь в руки, неуклюже открыл, удивился рисункам, где люди и животные выглядят, как живые, увлекся ими, а потом, вспомнив, что умение изображать живых от руки - дело шайтана, встрепенулся, оттолкнул книгу, чтобы больше не видеть и обратился к аллаху, прося прощения за прегрешения. Я, Кошек, езжу на этих машинах по родным степям и, как ты говоришь, золото, серебро ищу, а между делом много думаю о том, как мы учились в детстве. Думаю, потому что теперь мы строим новую жизнь, а для строительства новой жизни все должны учиться... учиться много и хорошо. А мы учились мало и плохо. И не потому, что не хотели. В нашей, например, Аккелинской волости в единственной школе училось всего 10-15 мальчиков, девочки совсем не учились. А тысячи мальчиков и девочек оставались темными и неграмотными... Ты скажешь, многие учились у муллы... Но ведь ты же хорошо знаешь, что большинство из них расставались с муллой, так и не научившись писать... Нам с тобой повезло, мы учились в русско-киргизской школе. Но и нас учили плохо. Начинали мы учебу, когда возвращались с джайляу, это где-то почти в конце октября, а кончали в начале апреля, когда аулы снимались с кыстау. Всего полгода или того менее. Школа, в которой мы учились, была открыта в 1904 году. Считалось, что она открыта и содержится по милости Шормановых. Помнишь, как удивился твой отец, когда Гриша-ага сказал, что школа государственная. Такие открывались в степях действительно с разрешения царя, потому что лучшие русские люди требовали этого, и царь не мог не уступить. И шормановы, в том числе Садуакас-аксакал, очень хотели, чтобы была такая школа. Покойный Садуакас считался почетным блюстителем ее и по положению был обязан способствовать ее процветанию. А что было на самом деле? Первые годы он как-то интересовался школой, приходил на уроки, следил, чтобы школьная комната хорошо отапливалась и убиралась, чтобы столы скамейки и доска ремонтировались, чтобы учитель вовремя выезжал за покупками для школы и т.д. Но скоро, как мне рассказывал потом Гриша-ага, он к этим своим обязанностям остыл... Зато тот Шорманов, у которого квартировала школа, исправно взимал плату, установленную казной за наем. Помнишь, как к

началу учебы нас набиралось 18-20 ребят, а к концу- оставалось 10-12. И так каждый год. Оттого кончали-то школу ежегодно только 1-3 человека. Учились-то в основном Шормановы да Сатпаевы, а кыстау остальных находились в отдалении. Каждый день приезжать невозможно. Это ты только мог решить, потому что был взрослей других да твой отец Айтеке вбил о себе в голову, что ты во что бы то ни стало должен научиться сам подорожную писать. А квартировать у Шормановых не так-то было удобно поскольку квартирующий учащийся превращался бы в мальчика на побегушках... Естественно, ему не до учебы... У Шормановых так было заведено: все, кто не они, но возле них, должны быть заняты их делами. И еще вот что. Мы теперь только знаем, как это плохо. Наряду с сытыми Шормановыми и, хотя и менее сытыми, но не голодными Сатпаевыми, учились и такие, как сироты Иманбая Аушахман и Мукан, как сын Айдоса Жакия, вечно голодные, вечно в заплатанной одежде. Я не помню, чтобы мы их особенно жалели или сочувствовали им. Все это казалось в порядке вещей... Но зато помню, как сытые не особенно старались учиться, а они, голодные, старались...

Интересным было отношение старших к нашей учебе. Мой отец, например, очень хотел, чтобы я постигал мудрости науки. Но в то же время, когда я иногда по пустячным причинам оставался дома и валял дурака, его это не расстраивало. А других родителей и подавно. У наших степных взрослых по-настоящему серьезного отношения к учебе детей не было. Потому, мне думается, что это не было в них воспитано укладом жизни, традициями. Оттого и посещаемость, и успеваемость в нашей школе, сколько ни бился Гриша-ага, были не ах-ти какие. Садуакас-аксакал, бывало, ораторствует среди собравшихся о пользе учебы и образования, а моему отцу не раз говорил, например, что теперь детей необходимо учить не на адвоката и учителя, а на агронома, врача, инженера. Говорил искренне, убежденно... А "что для этого необходимо хорошее состояние волостной школы, почетным блюстителем которой он был, большое количество учеников и оснащенность всем нужным для нормального обучения, он не думал. Сколько Шормановы тратили на межродовые интриги, на взятки и подкупы, на борьбу за места волостных и аульных в уезде, на многолюдные шумные поминки и той. А на грошовые расходы, как например, строительство отдельного домика для школы, обеспечение сносным жильем десятка ребят Садуакас-аксакал, старший среди Шормановых, не решался... Да что гово-

речь об этом...По положению в русско-киргизских школах, подобных той, в которой мы учились, должно было обучение продолжаться и на джайляу. Для этого школы должны были обеспечиваться специальной наемной юртой и наемной подвойдой для перевозки столов и другого нехитрого оборудования. Почетному блюстителю даже это было недосуг...Не то, что недосуг, мне кажется, он даже не полагал, что учеба требует постоянных забот, расходов. Он был в этом отношении богатырем слова - карликом дела. До революции среди русских тоже много было таких. О них мы читаем в русских книжках. Спасибо нашему учителю Григорию Васильевичу Терентьеву, этот настойчивый человек кое-чему нас научил, хотя у него самого было небольшое образование - он кончил Казанскую крещено-татарскую школу. Но учил он нас от души, добросовестно. Ты, Кошек, так и не кончил школу у Гриши-ага?

- Когда отец однажды убедился, что я могу сносно составить подорожную, то есть написать: «Кобыла пяти лет, масти пегой, грива справа, принадлежит киргизу Аккелинской волости Айткоже» - он решил, что сын его, все постиг и перестал давать лошадь на поездку в школу. Я пробовал приезжать на волю, вы засмеяли меня, к тому же каждый раз опаздывал... На этом моя учеба кончилась: два с небольшим года.

Оба друга весело посмеялись, вспомнив про вола, на котором ездил Кошек, и про «подорожную», которая засела в печенках Айткожи-аксакала после того, как он откупался от урядника в Павлодаре. Каныш, смеявшийся до слез, продолжал, вытерев глаза платком.

Теперь насчет золота и серебра, которые я будто бы ишу. Я ишу не только золото и серебро, вернее, не столько золото и серебро. Мы в степях знали железо, сталь, то есть то, из чего делают ободья на колесах, втулки, ножи, косы, вилы и др., еще знали медь-медный самовар. А кроме меди и железа был известен свинец - его, мы, дети, не раз расплавляли, чтобы залить асыки...А еще золото, и серебро... эти ценились как деньги и как украшение. Все вместе это называется металлами. Но откуда эти металлы и как из них делают изделия, которыми мы пользовались, мы не знали. От нашей темноты...Муллы же проповедовали, что правоверным, которых ждет истинное счастье в потустороннем мире, этого и знать не нужно, пусть знают, и делом шайтана занимаются кафиры, которым суждено на том свете гореть на медленном огне. А теперь, благодаря новой жизни, я - сын нашего аула стал инженером, то есть человеком, который знает, как найти эти металлы, как их из-

влечь и как использовать. Я знаю, например, что в нашей земле, на которой мы испокон веков пасли овец и лошадей, находятся целые клады металлов. Но надо их найти, доказать, что их выгодно выкапывать, очищать, выплавлять, а потом делать из них не только вещи, нужные для домашнего хозяйства, но и вот эти автомашины, железные дороги, паровозы, летательные машины - аэропланы и много, много другого... При чем, для этого нужно не только железо, медь, свинец, но и такие неизвестные в степях металлы, как алюминий, цинк, хром и другие. Их много, и если я буду называть, ты их все равно не запомнишь. Так вот нас теперь в новой жизни учат, чтобы мы, бывшие киргизы, а теперь казахи, сами научились их добывать, выплавлять и делать из них машины... А для этого в Карсакапае мы строим медный завод, в Караганде будем добывать уголь, строить много других заводов, шахт, фабрик. Но чтобы все это сделать, нам всем надо учиться и учиться... Учиться, чтобы по родным степям не один я колесил, черный, с потрескавшимися губами, а много других, в том числе и твои сыновья, которые должны стать инженерами, получше меня. Это означает, что я не продался русским, а русские научили меня и на моем примере хотят показать: чего достигли они, достигимо и для казаха... Вот такие, Кошек, дела. А что касается золота и серебра, то я их специально не ищу, они находятся, например, попутно с медью, и их тоже нужно извлечь. Мы сейчас золото и серебро используем, как я уже говорил, в качестве украшений, серег, колец. Они, в особенности золото, не используются для более полезных и необходимых в жизни целей. Золота на земле мало, извлечение его стоит дорого, поэтому золото - очень дорогой металл. Раньше у нас байские дети любили носить золотые украшения, чтобы показать, что они богаты. Теперь наступает такая жизнь, когда люди начинают стыдиться богатства. А золото служило для того, чтобы люди чувствовали неравенство между собой, превосходство власти имущих над остальными. Выходит, что золото и не очень нужный металл. Поэтому вождь бедных Ленин говорил, что наступит такое время, когда будут все равны, все будут хорошо понимать и по-настоящему, по-человечески, уважать друг друга, и это время будет называться коммунизмом; тогда золото совсем не будет нужно людям и, чтобы показать, что этот благородный металл в жизни человечества, когда люди делились на богатых и бедных играл неблагородную роль, им будут украшать отхожие места... Теперь ты пойми, что я, если и найду золото и серебро, то ни в коем случае не возьму себе, а

отдам государству. Эти металлы мне, человеку, выученному нашей властью, не нужны, Для нас самое лучшее золото и серебро - это знания. Учиться, Кошек, никогда не поздно, ты сам стремишься к знаниям, а детей своих учи по-настоящему, не как мы с тобой учились. А скажи. Кошек, аксакалы тебя слушают?

- Как сказать, Каныш, когда говоришь дело, вроде слушают. когда глупости - гонят. Айтеке, например, когда я недавно как-то неуважительно отозвался о покойном Садуакасе, камчой огрел: «Что тебе, дурак, живых не хватает?»

- Твой отец - умный и своеобразный старик, так тебе и надо, - засмеялся Каныш, но я тебе вот что хочу сказать. Мы вот с тобой о новой жизни говорили. Но она, новая жизнь, не придет сама. Надо ее строить. И поэтому вам, жигитам наших аулов, надо подумать о том, чтобы перестать кочевать. Казахи кочевали сотни лет и остались теми же, какими были - неграмотными, отсталыми. Теперь надо переходить к оседлой жизни - собираться в большие аулы, строить добротные дома, как у русских, тогда можно будет возводить большие школы, больницы, иметь хороших учителей, врачей и т.д. Для этого надо заниматься не только скотоводством, но и земледелием. А дальше - научиться управлять сложными машинами - тракторами, автомобилями. Десять лет назад мы, казахи, считались людьми второго сорта. А теперь большевики нам сказали: нет, вы такие же, как и все народы, только надо сбросить иго богатых и алчных людей, объединиться, учиться, и тогда народ покажет, на что он способен... Вот, Кошек, какое дело. Там, где расселялись наши аулы в Зимовье - вдоль Ащису, рядом с Айрик - там земли малоудобные для земледелия, надо переселяться к местам летних кочевий, к Шидерты, к Ниязским горам, создавать большие объединенные аулы, пахать и обрабатывать землю. Надо на корню пресекать мелкие межродовые ссоры и драчки, на которых только аульные мироеды наживаются; надо призывать к миру и труду. Все это теперь, наверное, в аулах власти и без меня говорят, но я хочу тебе, как друг подтвердить, что все, что говорят большевики, - это то, что нужно теперь нам, казахам. И в этом вам в аулах надо постоянно убеждать аксакалов, сила в них, мы испокон веков привыкли беспрекословно слушаться старших; если они поймут, вам легче будет новую жизнь в аулах строить. Ну, дорогой Кошек, нам пора... Засиделись, а собирались выехать пораньше.

Кошек слушал своего друга как зачарованный и только теперь увидел, что спутники Каныша собрались в дальнем углу

двора и почтительно ждали, когда закончится беседа. Кошек тоже было пора уходить, дел у него было невпроворот. Но Каныш говорил такое, о чем Кошек, хотя частью и слышал в ауле, но не особенно верил. И совсем не мог представить себе, что золото и серебро - вещи не нужные и даже, может быть, вредные. Слушая своего друга, он чувствовал, как много раз - возникает у него вопросов, о которых надо бы поговорить с Канышем и еще больше рассказать о новой жизни, о своих думах, об ауле и аульчанах.

Короткая беседа с Канышем запомнилась Кошек на всю жизнь. Сын зажиточного Айткожи стал потом коммунистом, активным сторонником и тружеником артельной жизни. Об этом жалел Кошек. Те дети, о которых говорил он Канышу, умерли рано, а более поздние при жизни академика еще не выучились настолько, чтобы поехать и рассказать Канышу, какими они стали учеными-молодцами. В одном был верен своему другу Кошек: работая всю жизнь на рабочих должностях, он оставался самым грамотным из сверстников в ауле, постоянно по-казахски и по-русски читал газеты, журналы, художественную литературу. Автор, встретившись с Кошек-пенсионером на девятом десятке его жизни в его доме в родном совхозе им. Пушкина под Карагандой, был удивлен интеллектностью аксакала.

Жил в ауле парень. Не простой, не обычный, а дебошир. Ночами выл колком, разгонял спящие отары, загонял содержащихся в особой холе скакунов, пугал беременных женщин, и они разрешались до срока... Не раз был нещадно бит, но дебоширство не прекращал. Наконец бий-судья присудил ему изгнание из родных кочевков на... три месяца. И вдруг все почувствовали, что дебошир - родная кровь, дорого для всех, в невиданной печали сжались сердца. Женщины плакали: три месяца казались страшно долгим сроком, а земли за пределами кочевков племени - краем света. Изгнанника проведали не только из своих, но и окрестных аулов за несколько верст. И с нетерпением ждали его возвращения, моля аллаха за его здоровье... Дебошир возвратился достойным, разумным жигитом - понял, что он в своем ауле не лишний, а дорогой человек, его любят и ценят, и он должен отвечать тем же.

В замкнутом родовом быту небольших аулов, редко объединявших более десятка семей, люди настолько привыкали друг к другу, что разлука даже на несколько дней казалась

большим испытанием. Когда мужчины выезжали раз или два в год на базар или ярмарку на одну-две недели, чтобы продать скот и купить необходимые товары, все в ауле вдруг чувствовали отсутствие уехавших, начинали беспокоиться, ворожить на хумалаке^{*} и поглядывать в сторону, откуда должны появиться путники. В ауле Сатпая нет-нет да и вспоминали о том, как дед Сатпай поехал в Мекку и остался там. Хоть и умер аксакал в святых местах, но находился бы прах возле родного аула, было бы легче на душе, и молитвы читались бы не какому-то духу, который будто бы может витать здесь, покинув бранные кости, находящиеся за тридевять земель. Вспоминали, сколько беспокойств вызвало отсутствие юного Имантая, когда он по прихоти стареющего Сатпая вдруг поехал учиться русской грамоте в какой-то далекий русский город Омск. Не менее тяжело было, когда Имантай с Садуакасом и другими отправился к праху Чокана, в далекие кочевья Большого Жуза, чуть ли не к шуршутам^{**}, о которых только в сказках говорится. Дай бог поменьше таких испытаний. Все-таки лучше, когда все находятся в ауле, перед глазами. Правда, алаху было угодно, чтобы Зеин послал своего Абиkey учиться в Омск. С тех пор Абиkey, как отрезанный ломоть, приезжает в казенной русской одежде только летом. Кончил какую-то большую русскую школу в Омске и теперь устроился учителем в Павлодаре учить детей по-русски. Приезжает и еще уговаривает аульных ребят, чтобы они тоже уезжали учиться. Уговорив Имантай-аксакала, чтобы Каныш учился дальше у него в Павлодаре. Даром, что Абиkey уехал учиться, и так и не вернулся в аул, теперь собирается перетащить всех ребят в русские школы, выучатся - не вернуться, что с аулами без молодежи будет? Жили же предки без этой учебы. И что толку, что Абиkey выучился, косяки у Зеина прибавились? Не прибавились. Тогда к чему такая учеба? Так рассуждали досужие языки в ауле, когда узнали, что Каныш отправляется в Кереку, чтобы продолжать учение. Но никто не смел подступиться к суровому аксакалу и сказать ему об этом. Лишь шушукались за очагами и тревожили и без того расстроенную аже Нурым.

Между тем, аксакал сам был в тревоге. Он считал, что Канышу нужно продолжать учиться. Но в то же время ему трудно

^{*}Гадание на 41, разложенном по особым правилам или раскиданном на ска-
терти

^{**}шуршуты - так иногда в степях называли китайцев

было представить себе жизнь в доме без любимого мальчика. Кенже вырослел, перестал прятаться вечерами под подолом просторного купе аксакала, сопровождать его при хозяйственных разъездах, но без его шалостей, без его чтения корана и хисса-поэм, без его домбры, играть на которой он научился быстро и легко, без его песен, которые он слышал из комнаты уже женатого Бокеша, дом ему представлялся пустым и неуютным. Все знали, что в присутствии Каныша аксакал добрел, и, несмотря на неизменную суровость на его лице, все окружающие чувствовали себя спокойно и вольно. И вот теперь мальчика необходимо отправить в Павлодар. Аже Нурым расстраивалась при одной только мысли, что не сможет видеть своего Канышжана каждый день. Была бы ее воля, ни за что б никуда не посылала своего мальчика... Она вдруг возненавидела Абиkey, которого любила до этого, как сына. Ей казалось, что Абиkey уговаривает стареющего ее мужа не столько для того, чтобы выучить мальчика, сколько, чтобы из дома Имантая брать ежегодно согым* масло, припасы. Из дома бедняка Зеина не очень много наберешься. Она как-то за утренним чаем попыталась заговорить об этом, но под грозным взглядом мужа замолчала и сама не рада была, что проговори-лась.

Взгляд же аксакала был грозен потому, что аже Нурым, сама того не желая, задела больное место в думах аксакала. Абиkey учился, приезжал и уезжал, и аксакал хорошо знал, что Зеин не всегда мог встретить своего сына, справив подобающий дастархан**. Тем не менее, ни Жамин, ни Имантая не проявляли заботы об этом. Собственнические инстинкты оказывались сильнее сентиментальных позывов плановой психологии, когда, каждый член рода считал, что в любой семье родного аула он имеет долю от испокон веков неподеленной части собственности. Тщетное притязание на последнее часто приводило к различного рода тяжелым размолвкам в ауле: особо открыто ссорились женщины, это передавалось детям, охладевали друг к другу мужчины. Размолвки не могли продолжаться долго, ибо замкнутая жизнь в ауле заставляла довольно скоро забывать обиды, но вспышки бывали частыми и быстрыми. Аксакал знал, что Абиkey умный парень, он становился умнее с каждым годом учебы и дела вид, что не замечает затаенную обиду отца и матери на зажиточных братьев, не замечает тех усилий, которые приходились на долю дяди Имантая, чтобы сдерживать своим авторитетом готовые вспыхнуть раздоры. Хотя в семьях дядей его - Имантая и Жамина - не

скупались на ласки и угощения во время пребывания его на каникулах в летние месяцы, хотя и дядья постоянно помогали ему деньгами, припасами во время учебы его в Омске, все же он понимал, что это делалось не от щедрости, а больше для того, чтобы поддержать престиж зажиточного аула Сатпая и частью из жалости к родной крови, и делалось в таких размерах, что учащийся Абиkey еде сводил концы с концами. Женщины же из семей Имантая и Жамина находили возможным бестактно напоминать о «жертвах», которые их дома будто бы приносят ради учебы дорогого кайным. Умевший все анализировать, аксакал помнил, как скупое поддерживал своего племянника, и, несмотря на это, Абиkey оставался всегда к нему почтительным и внимательным. Он знал, также, что Каныша Абиkey берет к себе из искреннего желания выучить... Он теперь учитель, и там, в Кереку, получает невиданные в степях деньги, во всяком случае достаточные для того, чтобы безбедно содержать свою семью. И напрасно его старуха говорит эти обидные для Абиkey и его родителей глупости. Нет, Каныш поедет в Кереку, надо мальчика готовить в дорогу.

Каныш, давно мечтавший стать таким ученым и таким умным, как Абиkey-ага, был безмерно рад решению отца. Три коня готовились для дальней дороги, ремонтировалась и смазывалась пароконная бричка с вместительными дровнями. Отец велел зарезать жеребенка - необходимое жертвоприношение к такому событию, как отъезд сына на учебу в русский город, на пиршестве присутствовали и родственники из соседних аулов. Каныш вдруг сделался кумиром всех: во всех семьях устраивали угощения, созывая вместе с ним всех его сверстников, с которыми он должен теперь расставаться, сажали на почетное место. Он входил в юрту, куда приглашали, солидно, как взрослый, строго поглядывая на друзей, которые то и дело не к месту старались его рассмешить. После каждого обеда старший за дастарханом читал выдержки из Корана с пожеланиями благополучия и здоровья отъезжающему на учебу рабу аллаха Габдулганию. Мальчик был настолько серьезен, что друзья его решили, что Каныш возгордился. На самом же деле он лишь исполнял указания отца, ибо такие угощения были обязательны в каждом ауле, чтобы отъезжающий долго не забывал вкус того, что подавалось на дастарханах родных и близких, чтобы вкус этот звал его обратно, в родной аул, а благие пожелания, данные за сердечным дастарханом, освященным святыми словами из книги пророка, были щитом от всяких напастей.

Аже Нурым со снохами суетилась, готовя одежду, постельные принадлежности и припасы для любимого последнего. Был зарезан бычок, мясо его сушилось и коптилось. Хотя говядина в степях ценилась не так, как баранина и конина, но многоопытный аксакал велел зарезать именно бычка, ибо знал, что говядина хорошо сушится и коптится и дольше сохраняется; к тому же мясо даже в копченом виде остается наваристым, давая вкусный бульон, если оно было не пересолено при копчении. Хлопот было много, но за этой суетой у старой женщины опускались руки, когда она думала, что ее малышу Канышжану аллах помог быть счастливым и без этой русской учебы, как счастливы были все его предки (почему-то ей представлялось, что все предки аула Сатпая жили счастливо). Но она знала, как редко менял свои решения ее аксакал и, скрепя сердце, продолжала хлопоты.

Наступила долгожданная среда. Именно в среду - день сят - удач начинали все серьезные дела в ауле Сатпая. Когда в этот день в ауле начинали какое-нибудь дело или выезжали в путь, аже Нурым любила вспоминать, как ее, молодуху, только что привезенную в дом Сатпая, властная старшая свекровь наказала кочергой, лежавшей у очага, за то, что она в неведении произнесла слово «сят-удача», вовсе не полагая, что ее свекор Сатпай, есть Сятбай» - удачливый бай. Называть молодухе по имени мужчин аула, в особенности старших, считалось большим неприличием.

Отец поднялся рано и поднял Каныша, крепко заснувшего после поздно закончившихся прощальных игр со сверстниками. Они вдвоем отправились к родовому кладбищу. Отец почти никогда не ходил пешком, но на этот раз изменил своему обыкновению. Подъезжать верхом к усыпальницам покойных, когда аул находился рядом в 2-3 верстах, было бы неуважением к их духу, их аруаху. Солнце поднималось из-за сопки Айрик, золотя покрытую имею траву и обещая погожий день. Дышалось бодро и свободно. Аксакал принял это за хорошее предзнаменование, и в его голосе слышалась та редкая и еле заметная теплота которую умели улавливать только очень близкие и тоньше всех улавливал младший сын. Пока шли, отец не первый раз подробно рассказал, кто и когда похоронен на кладбище. При этом еще раз назидательно напомнил, что он, Каныш, всегда должен помнить и почитать предков, молиться за их души, в особенности в мусульманский день - пятницу. Молиться не обязательно вслух, достаточно и про себя. Прежде всего он должен молиться душе деда Сатпая,

которая витает здесь среди родных, ибо он умер в святых местах во имя спасения души потомков. Он должен молиться за свою мать Алим, аруах которой постоянно стережет ее детей. При имени матери перед мальчиком вставала молодая, высокая, красивая, вся в белом женщина. Такой он ее представлял по рассказам старших в ауле. Особых чувств мать ни в нем не вызывала, но он знал, что она хорошая, и он должен помнить ее и за нее молиться, как не раз наказывала аже Нурым, и как изредка внушал отец. У кладбища они сели на корточки, и отец нарассев прочитал одну из больших сур Корана. Потом, воздев ладони, он долго шепотом вымаливал у аруахов благословения для своего младшего сына. В этом долгом шепоте аксакала была тревога, ибо он чувствовал, что с Аби-кея началось для аула что-то новое, непривычное, нетрадиционное, трудно представлял себе будущее своего младшего сына, хотя и твердо теперь знал, что учиться он будет не для жизни в их маленьком ауле. Мальчик тоже воздел ладони, но, исчерпав слова Корана, которые обычно говорятся в завершение молитвы, не смея опустить руки, с нетерпением смотрел на отца. Потом пересели к могиле матери... Алим, и отец сказал, чтобы молитву прочитал он, Каныш. Помолвившись аруахам, отец и сын возвратились в дом, где дымил большой желтый утренний самовар, и почти весь аул собрался у дома Имантая, а бричка в парной упряжке удобно уложена и наполнена доверху утопанным сеном. Третий запасной конь привязан к бричке сзади.

Не успели они появиться, как поджидавшая сына аже Нурым отозвала его в сторону, вынула из кармана маленький серый треугольник, на шелковом шнуре и повесила его на шею мальчику, «Это - тумар, Канышжан, носи его, не снимай, пока не вернешься, там защиты божьи слова, они всегда будут щитом тебе». При этом она так печально смотрела на него, беззвучные слезы капали из старых глаз, что мальчик не выдержал и отвернулся. Она его поцеловала и больше не подходила, только издали глядела на него мокрыми, покрасневшими глазами, ибо аксакал терпеть не мог бабьих слез и причитаний. У многих женщин аула слезы наворачивались на глаза, когда они видали, как держится старая Нурым. После чая Каныш простился со всеми, подошел к отцу, который притронулся к ершистой голове сына (это было высшим проявлением его нежности), брат Абсалям, дядя Шадет и Каныш сели в бричку, и повозка покатила. Брат Бокеш и несколько его сверстников провожали верхом, пока не скрылся за сопкой аул, и там они

пожелали Канышу счастливого пути, хорошего здоровья и чтоб он вернулся большим ученым муллою.

Позже Каныш Имантаевич десятки раз проедет по дороге из Аккелинской волости в уездный город Кереку (Павлодар) и обратно, будет ездить, как и ныне, на своих лошадях и на перекладных по делам службы, будет ездить с трудностями и приключениями, но ни одна из этих поездок не запомнится ему так, как этот первый выезд мальчика в далекий город, на встречу тому неведомому и сказочному, к которому он, увлеченный судьбой брата Абиkey, стремился в смутных мечтах. Он всю жизнь до деталей будет помнить, какая гордость обуряла его, когда он почувствовал, что он сам едет учиться, что два взрослых человека - брат Абсалям и дядя Шадет - едут, только сопровождая его, и что эта бричка-повозка и пара коней, легко и ходко несущих ее за собой, и этот третий запасной, трясущих сзади на поводу, - все это для него и из-за него. Он будет помнить, как показались Баян-аульские горы и как долго до них не могли доехать. И как началась после гор широкая-широкая, серая, необозримая степь. И будет помнить, как был недоволен брат Абсалям тем, что отец почему-то торопил их и велел ехать, не сворачивая никуда, и как брат ворчал на Шадета, привыкшего точно исполнять повеления аскакала, в тщетной попытке уговорить его заехать хотя бы на полдня или на ночевку к каким-то родичам по женской линии: они якобы должны встретить их с почестями, до которых Абсалям был большой охотник. Он будет помнить незабываемые ночевки у какого-либо озера, когда при свете костра от кизяков, наевшись мяса и баурсаков с маслом и напившись сваренного в котелке чая, он забился на бричку и ложился под широкую толстую кошму между братом и дядей Шадетом и сладко засыпал под фырканье стреноженных возле повозки лошадей. Будет помнить, насколько приятно было утром рано с разрешения брата править лошадьми и наблюдать, как над ними поднимается легкий пар, принося в бодрящей воздух вкусный лошадиный запах, видеть, как этот пар становится все бледнее и реже и с солнцем исчезает совсем. Будет помнить, как они с братом смеялись над дядей Шадетом, когда тот незаметно для себя начинал тянуть песню без слов на один и тот же стелной мотив и как под эту песню, укачиваемый повозкой, он засыпал, и просыпался. Будет помнить, как он сам по просьбе своих спутников пел о печальной любви Козы-Корпеш и Баян-Сулу, вызывая восторг у дяди Шадета, который до этого, оказывается, не обращал внимания на то,

как много знает наизусть друг его сына Жумаша. Будет помнить о том, как он, чувствуя, с каким удовольствием слушали его спутники, звонко пел суры из Корана у кладбища встречавшихся в дороге, в точности выполнял указания отца, который строго внушал не проезжать мимо праха мусульманина, ибо последователю пророка не подобает сердить аруахов, чьего бы рода и племени они не были не подобает, проявив неуважение к ним, заранее обречь себя на неудачу в пути. Будет помнить и то, как не пропускали ни одного встречного, чтобы чинно не поприветствовать и взаимно не расспросить откуда и куда едут, какого роду-племени; редко Шадет не обнаруживал, что встречный приходился каким-то родичем по женской линии, ибо, например, выявлялось, что наша тетя имеет двоюродную или троюродную сестру и их ауле. Следовали взаимные поручения передать приветы и пожелания малознакомым или вовсе незнакомым родственникам.

Позже уже учась в Семипалатинской семинарии, Каныш прочитает «Степь» Чехова и будет удивлен тем, как много сходного в переживаниях чеховского Егорки с его собственными переживаниями во время той чудесной поездки из родного аула в Кереку. Он вновь и вновь будет перечитывать это, полное поэтической и живописной простоты, произведение и взволнованно сопоставлять свои впечатления с впечатлениями русского мальчика, невольно закрепляя в памяти воспоминания об этом своем первом счастливом путешествии.

Много ли нужно степному жителю для счастья? Не очень много...

Проснется, бывало, казах погожим летним утром, полежит, блаженствуя в полумраке юрты с закрытым тундуком, послушает, как тихо посапывают разметавшиеся по всему жилищу домочадцы, как извне доносится разноголосое пение птиц. Лениво, не спеша, покинет постель и выйдет наружу; зевнет, сладко жмурясь от ласковых лучей раннего солнца, и, осмотревшись, улыбнется довольный.

Потянется к водопою его родовой косяк. Лошади, нажавшиеся за ночь степного разнотравья, ступают грузно, сыто пофыркивают. Впереди с гордым и величавым достоинством вышагивает гривастый гнедой жеребец, любимец детей. Строг к своей семье ревнивый глава косяка: все вытянулись в ровную цепочку, словно сверяя походку по хозяину, даже резвые жеребята и те не смеют нарушить порядок. А невдалеке от юрты черными подвижными кумалаками рассыпалась отара овец, давно покинувшая ночное лежбище. Солнце пригрева-

ет: теперь и эти побредут, трясая курдюками, к воде.

Взор его неторопливо и внимательно обходит горизонт. Не принято, чтобы пастух занялся другим, не оглядев настороженно даль. Не положено быть застигнутым врасплох. Появилась движущаяся точка. Заслонив глаза от солнца и прищурив их зорко, с радостью видит, что кто-то едет.

- Вставай, байбише, взбалтывай содержимое турсука, ставь самовар, гость будет! Спешит, видать, коли сел на коня спозаранку!

- Кричит он жене, а сам идет к косяку, чтобы отделить дойных кобыл и привязать жеребят к жели.

Легкой, счастливой казалась жизнь степняка. Много ли у него забот: переключать, да юрту поставить, вовремя подоить животных, зарезать барана, когда нужно. Вот и ждет казах не дожидаясь гостя, чтобы напоить его кумысом и чаем, дать отдохнуть, угостить спелым ягненком, услышать новости, поговорить о погоде, о видах на травостой, вспомнить былое.

Было это. Но часто ли, подолгу ли было... Зыбким, ненадежным счастьем одаривало казаха подвижное богатство его - скот. Рассердился сильный соседний род, или свой же бай или волостной - убывает косяк, редет отара, попробуй, найди на насильников управу. Одна зимняя бескормица - джут и нет ни косяка, ни отары - остается степняк с пустой уздечкой и никчемной палкой в руках. Неуверенно, нетвердо жил на земле казах, жил всегда в тревоге - вмиг стать бедным и нищим. И поэтому особо ценил он, хранил он в сердце тот изредка выпадавший на его долю короткий светлый промежуток, когда он мог считать себя счастливым и беззаботным, когда он мог от души радоваться гостю. И растягивал он эти мгновенные и редкие промежутки в воображении, разукрашивал вымыслами. И смешивались они с той сказочной порой, что описана, по уверениям служителей пророка, не то в Коране, не то в другой священной книге: тогда будто бы все живое на земле леделяло, берегло взаимный покой и звонкоголосые веселые птички-жаворонки гнездились да выводили птенцов на пухо-во-мягких спинах мирно пасущихся овец.

Дороги были скудные радости для казаха. Обильные жертвы приносил он для них. Оттого и беспокойной, и тревожной была жизнь в степях. А с тех пор, как белый царь задумал пойти войной на своего родича царя герман уж вовсе все на земле перемешалось. Началось с того, что царю потребовались кони. Шабарманы волостного, сопровождаемые царскими солдатами, буреи налетали на аулы, выкрикивали имена хозяев

и, крутя над головой нагайкой, приказывали гнать коней в волость. От помощи царю никто и не думал отказываться. Помогали же до этого и кожей и шерстью, и деньгами. Налогов и поборов (якобы добровольных) столько стало, что многим последнее приходилось отдавать. И теперь не стали бы жалеть каких-то коней, когда тамыры и знаковые с соседних сел, истекая кровью, гибли от германских пуль или возвращались калеками без рук, без ног. Но народ волновался, не хотел отдавать коней. И было отчего.

Почему-то коней брали не от количества лошадей в косяках, а с юрты. Богач, имевший сотенный или тысячный табун, отдавал столько же коней, сколько и тот, который от своих кобыл за день не мог наполнить и малый турсук. Все делалось по шариату, доходчиво растолкованному муллами: перед царем, как и перед аллахом, все равны, и поэтому долг перед земным владыкой, как и перед небесным, должен выполнять каждый сам по себе, на равных. Эти законы шариата можно было как-то терпеть, пока не стали отбирать коней. Но тут все увидели, как на царской войне, богатый быстро становился еще богаче, а бедный - еще беднее. Горе загуляло по степям, страдание охватило сердца, ибо бай зверел, охраняя косяки от нищих и голодных, а нищие и голодные отчаянно хотели выжить. От отчаяния до мятежа один шаг. И это шаг был ускорен.

Появилось в степи и пошло гулять по юртам, поднимая рев и плач, страшное русское слово «прием». Оно означало, что все здоровые жители мужского пола от девятнадцати до тридцати одного года должны отправиться вслед за теми конями, которых уже перемололи жернова войны. Отправиться, чтобы рыть окопы-ямы для царских солдат. Эти ямы должны сбереечь их от германских пуль.

- Тауекель, - успокаивал родных и близких иной кормилец семьи, имевший целую юрту детей и стариков, - когда гуртом со сверстниками, любая трудность за праздник сойдет!

Казахское слово «тауекель» звучит куда сильнее и решительнее русского «авось», оно способно успокоить казаха в самом отчаянном положении. Но это «тауекель» почти не действовало ни на новобранцев, ни на остающихся. Гурт-то получался всеобщим. Владельцы больших косяков и отар не попадали в него. Будто в их семейной жизни был промежуток, когда аллах наложил запрет появлению детей мужского пола. И этот промежуток будто начался тридцать один год назад, а закончился девятнадцать лет назад. Оттого в семьях богачей

все парни оказывались или старше тридцати одного или моложе девятнадцати. Зато, видать, в это время в бедных семьях появлялись одни мальчишки. Словом, волостные, аульные и их писари так поработали, что ложь на их бумагах четко выглядела той правдой, которую затуркали, загнали, связали по рукам и ногам, чтобы она, самим аллахом забитая и затоптанная и на глаза не смела показываться.

И стекались новобранцы на ближайшие станции под плач и причитание детей, стариков, жен и матерей. Затолкали кормильцев бедных и нищих юрт в большие ящики-теплушки на железных колесах и затарахтело, заскрежетало железо колес о железо дороги. Тарахтело и скрежетало аж до самых тех мест, где русский брат сидел под пулями герман.

Писать не умели, а если и находился такой, то не знали куда писать. Вести приходили редкие, отрывочные. Пробилась неведомыми путями песня, родившаяся в окопах, песня, полная горя и печали. Пела песню, обливаясь слезами, вся степь. Говорилось в этой песне о том, как царь заставил казаха, боявшегося ковырять землю, чтобы не накликал беды (считалось, что землю копают только для упокоения мертвых), взять лопату и копать ее ради живых русских солдат. Пелось о том, как неудобны для степного желудка черный хлеб, капуста и похлебка, о том, что теперь они выглядят хуже стада баранов в бескормицу: пожалеть даже некому. У песни был удивительный припев с русскими словами:

Ой степ мой, степ родной, ой-ой-ой!

Когда едем домой-ой, ой-ой-ой!

Этот припев звучал с такой неизбывной тоской, что вздох слушавших превращался в стон.

Стонала вся степь. Вслед за теми, кому было (или записано, что было) от девятнадцати до тридцати одного, объявили «примем» всем, кому от тридцати одного до сорока трех. Степь не выдержала, забурлила, забушевала, села на коня. Стон перешел в бурю. Вчерашние удалыцы-одиночки, скрывавшиеся от гнева властей, становились вождями мятежных масс. Казах выступил против царя. Императорские карательные отряды с пушками, с пулеметами носились по степям, грозя разбить, уничтожить отряды народных батыров Амангельды, Бекболата и многих других. Разбивали, рассеивали, ловили, расстреливали, вешали, но уничтожить не могли. Разбитые и рассеянные джигиты снова собирались и снова вели народ за собой.

Это была война обездоленных против царя, его чиновни-

ков, против своих баев и волостных, угодливо прислуживавших белому владыке и предававших свой народ. Многие русские солдаты, бежавшие с фронтов, присоединялись к восставшим, возглавляли их отряды, обучали обращаться с оружием.

Казалось, царь решил выместить злобу за поражение в войне с германами на степных жителях. Ужасам не было конца. И тут пришла в степи ошеломляющая и будоражащая весть: русские люди скинули белого царя вместе с его тронном, вместе с короной. Аксакалы всегда говорили, что народы никогда не воюют между собой, воюют только ханы и цари. Думалось, раз царя теперь нет, то не будет и войны. Но война продолжалась. В степях все шло по-старому. Правда, стали разъезжать по аулам по-русски одетые молодые люди, из тех, что учились в Омске, Семипалатинске, Троицке, Уфе, Оренбурге и других городах и служили в области, в уезде, учительствовали в городских и волостных школах. Разъезжали и разъясняли народу, что будто война ведется праведная и будет продолжаться до победы и что новой власти, поскольку она не царская, надо помогать всеми силами.

Народ не понимал, чем отличается новая власть от царской. Еще менее было понятно, когда эти же молодые люди с жаром толковали, что степи теперь должны быть сами собой. «Проснись казах!» - восклицали они и, призывая проснуться, сочиняли песни и стихи. В них было много громких и звучных слов, складных и красивых назиданий, но они, эти слова и назидания никак не разъясняли, что значит быть самими собой и от какого он казах должен проснуться, если война продолжалась, если цвет народа погибал в окопах, если новая власть делала точно то же, что и царская, если баи и волостные оставались теми же, кем были, если они грабили голодный и раздетый народ и измывались над ним по-прежнему.

Новая власть только тем и отличилась от бывшей, недоброй памяти царской власти, что выпустила деньги, счет которым велся такими числами, как «миллион». Этим числом «миллион» ни один казах не пользовался, ибо необходимы были невероятные усилия воображения, чтобы постичь, что это число означает. Был найден выход: во избежание опасных ошибок исчислять эти деньги на вес, на фунты и пуды, и носить в мешках. Так шли дела, что впору было снова садиться на коня. Только то и сдерживало, что новая власть сама объявила, что она ненадолго, что она временная. И она оказалась на самом деле временной.

Поздней осенью семнадцатого года пришла весть, что власть

в ру и взяли рабочие, самые бедные люди из всех живущих в бывшей царской империи, люди, не имеющие, как говорят в народе, даже паршивого теленка. Этому не верилось. Это казалось сказкой. В степях самый бедный человек и есть самый забитый, самый бессловесный. Он не знает ничего, кроме овец и лошадей, среди которых проводит всю жизнь. Разве сможет такой человек, если окажется в гуще овладеть вниманием их, и управлять ими? Те, кому неприятна была весть о переходе власти в руки бедных, не только поддакивали, но и сами сеяли и распространяли это неверие.

Но все было похоже на правду. У власть имущих заметно стала убывать надменность. Видно было, что тревожная озабоченность овладела ими. Многие стали даже прикидываться друзьями бедных и обездоленных. Но самым главным событием, не оставлявшим сомнения в том, что новая, рабочая власть существует и действует, явилось то, что вдруг неожиданно стали возвращаться домой погибавшие в окопах сыны степей. Возвращались голодные, оборванные, но веселые, возбужденные, полные каких-то новых, ранее не известных степям надежд. Оказалось, что рабочая власть отказалась от царской войны.

Приехавшие из окопов и открыли всю правду. Они рассказали, что власть действительно взяли в руки самые бедные люди на земле. Но зато очень умные, очень мудрые. Они трудятся на фабриках и заводах, обращаются с такими машинами, с которыми имеют дело лишь грамотные люди. Живут рабочие в больших городах, работают по несколько сот и даже тысяч человек под одной крышей, в постоянном общении делают сокровенным, затаенным, взаимно обогащаются знаниями и оттого становятся толковыми и зоркими, дружными и спаянными. Благодаря зоркости и дружбе, они знают, что делают, они предвидят события. Самые мудрые из них объединились, чтобы принимать самые ответственные решения и стали называться партией большевиков, а возглавляет эту партию и теперь рабочую власть мудрейший из них первый большевик Ленин. Власть называется советской, потому что она советуется с бедными и обездоленными и делает то, чего чают и желают честные трудящиеся люди.

Вот какие удивительные вести привезли в степи джигиты из далеких окопов проклятой войны. Из того, что они говорили было ясно, что беднякам из какого бы они народа ни происходили, никак нельзя быть самими собой, когда у них общий вековечный враг - богачи. Было также ясно, как глупо с шу-

мом и громом призывать:

«Проснись, казах!», когда казах никак не видел и не чувствовал от чего и для чего должен он проснуться. Новая советская власть призывает: «Проснись, бедняк!» Что совсем другое дело. Тут все яснее ясного. Он призывает отобрать власть у заживших и потерявших совесть, призывает строить такую жизнь, когда бы трудовой человек работал не на хозяина, а на себя, для этого он советует объединяться с такими же, как он сам, русскими - бедняками. Это было конкретно и убедительно. За такую власть бедняк готов был все отдать.

Степной житель понял главное - теперь надо помочь рабочим в городах, чтобы они уверенно могли продолжать то, что начали. Но новая власть не брала у бедняка. Она видела в какой он нужде. Она объявила продрозверстку, чтобы изъять у богачей излишнее, награбленное у трудящегося люда. Вот как поступала советская власть!

Она уверенно повела за собой народ и народ пошел за ней, несмотря на вопли и причитания степных воротил и их подпевал мулл, хазретов, муфтиев, поднявших шум, что наступает конец света, что нечестивцы, отвергнутые аллахом и его проком, хотят свести правоверных с истинного пути.

И уж совсем неколебимо прочно вошли большевики в сердце пастуха-казаха, когда царский адмирал Колчак поднял восстание и, потопив степи в море крови, временно восстановил власть буржуев и баев. Может быть, такое испытание было и необходимо. Трудящемуся человеку надо было всем существом своим познать, как дорого и бесценно то, что ему несла Советская власть; а познавши, надо было прийти к единственно правильному решению - жертвовать всем, даже самую жизнь ради того, чтобы возратить ее. И поэтому - то на борьбу с Колчаком шли самые лучшие, самые преданные делу бедняков сыны степей, вливаясь в отряды красных партизан и в регулярные части Красной Армии.

Блаженны мир и тишина после бурь, невзгод, опустошений и трагических потерь. Гражданская война кончилась. Советская власть основательно принялась за мирные дела. Казалось бы, казаху теперь и оставалось возмечтать и добиваться иметь десяток другой лошадей, маленькую отару овец, чтобы побыть в таком довольстве, когда, принимая гостей, не затрудняешься, чем их накормить и угостить. Это была вековая и красная мечта трудящегося казаха.

Ходили рядом поезда, бегали автомобили, летали самолеты, горели электрические лампочки, жили и творили Эдисон

и Эйнштейн, Менделеев и Тимирязев, Толстой и Горький, а казах оставался все таким же, каким был. Он продолжал полагать, что главное в жизни быть сытым, ибо, недаром аксакалы говорят, бедному наестся - это почти разбогатеть. И оставался бы казах таким еще бог знает сколько времени, если бы рабочие в Петрограде и Москве не взяли власть в свои руки и не призвали всех трудящихся последовать их примеру.

В смутной дали теряются времена, когда предки казаха пришли в бескрайние степи и породнились с ними. Иные даже утверждают, что те далекие-далекие отцы и матери казаха ниоткуда и не приходили. Взяли они свое начало от плоти самих степей. Завещали они потомкам беречь неоглядные равнины и широкие плоскогорья от Каспия до Алтая, от Тянь-Шаня до Уральских гор для счастья будущих поколений. Оттого казах насмерть стоял за свои степи. Уж сколько раз варвары и иноземцы резали, истязали, убивали казаха, гнали, отрывали его от родных ковылей, но он всегда, неизменно, неуклонно, после всех невзгод и ненастий, после нечеловеческих испытаний, победив не только муки ада, но самую смерть, изгонял порабитителей и снова утверждал святое право хозяина своих степей. В эти промежутки побед и ликований ему казалось, что сбылась его красная мечта. И невдомек было ему, что его заветная мечта есть мечта нищего, а счастье, приносимое бывшей мечтой, есть копеечное подаяние скупой несправедливой судьбы.

И вот казах, после насилий, надругательств, поборов, которые чинили опричники царя и эмиссары временно правивших, после колчаковских грабежей и истреблений, после всех унижений и оскорблений, после всего того, чего уже который раз испытывал на своем веку, впервые стал мечтать не об обычной сытости в десятком другим лошадей и маленькой отарой, а о чем-то волнующе высоком и неизведанном; о чем-то таком, что было несравненно привлекательней, духовней и интересней того стереотипного, примитивного образа счастья, который веками утверждался в его воображении. Что-то такое произошло, что необратимо, навсегда, казалось, разорвало тот замкнутый круг, в который смыкались его утлые интересы: разорвало и давало понять, что человек, где бы он ни вырос, в каких бы условиях ни жил, достоин чего-то большего, неизмеримо большего, чем быть только сытым; что прокормление себя самого должно быть не самоцелью, а лишь простым, без особых хлопот достижимым условием для этого большего и возвышенного.

Напрасно все бывшие, правившие и помыкавшие народом в свое удовольствие, уверяли весь мир, что заскорузлый мозг пастуха, прозябавшего на низшей ступени существования, никогда не будет способен разобраться в диалектических тонкостях внутренних струн человеческого и общественного бытия, что человеку, из поколения в поколение добывавшему хлеб насущный за счет пота на спине и мозолей на ладонях, не суждено выйти на такой уровень, когда бы другие могли слушать его с интересом, принимать его суждения и руководствоваться ими. Для этого, вешали они, нужно уметь думать.

Вот тут-то они просчитались. Пастух оказался удивительно умен и безмерно талантлив. Но чтобы его ум и талант развернулись во всей полноте, чтобы его природные данные зазверкали всеми цветами радуги, надо пастуху учиться, надо пастуху овладеть знаниями, накопленными человечеством. Вот почему Советская власть решила на то, на что не решилось бы ни в какие времена ни одно правительство; в годы жесточайшей разрухи и предельного обнищания она поголовно посадила голодного, раздетого, разутого пастуха за парту, чтобы заставить его немедленно овладеть азами грамоты, чтобы заразить его неистребимым интересом к буквам и складывающимся из букв словам, к бумаге, к перу, к книгам, к чтению и познанию того, что находилось для него под вековым запретом.

Примитивно проста была степная жизнь. Аулами правил аульный, аульные подчинялись волостному, при волостном состоял бий - судья, для которого, как впрочем и для всех других в волости, был и повелителем и законом только он, сам волостной. А где-то выше, вдали находилось недоступное, неведомое, но грозное и страшное золотопогонное уездное начальство. Удобна была эта простота, она утверждала покорность и бессловесность.

Советская власть навсегда лишила степную жизнь дикой, первобытной простоты, а казаха - смирения и обреченности. Пастушеское бытие переходило на уровень сообщества граждан, обладающих нравственными ценностями высокого порядка и решившихся ради этих нравственных ценностей отречься не только от прав, приобретаемых по количеству лошадиных косяков и овечьих отар, но и в корне пресечь самую возможность когда-либо иметь такие права. Этого можно было достичь только путем активного участия всех забитых, задавленных нуждой и произволом людей в решении своих дел: такого участия, когда бы их ум и сметка, раскованные волей рабо-

чей власти, были нацелены на быстрое овладение всем тем, что уже являлось достоянием высокоразвитых народов. Для этого учреждались невиданные и неслыханные для степей культурно-просветительные, юридические, земельные, финансовые, хозяйственно-бытовые органы. Вести дела в этих учреждениях могли только грамотные люди. Оттого теперь любой человек, обладающий хотя бы некоторыми знаниями, становился большим начальником: учителем, адвокатом, прокурором, судьей, землемером, бухгалтером, если не самим управителем учреждения. Это были люди, без которых и богачи в свое время не обходились.

Степь бурлила. Революция жестко требовала работы четкой и оперативной. Большевики умели рисковать в выборе, но своим доверием дорожили. Не проявлявшие нужных качеств быстро заменялись. Должностная недобросовестность подлежала громкому разоблачению и суровому наказанию на основе революционной законности, чтобы впредь другим неповодно было. Большая часть их, осевших за столы советских учреждений управлять по-новому степными делами, с сердцем и душой восприняла большевистские идеалы. Сюда же входили многие из тех, кто еще вчера, увлеченные цветистым красноречием людей, возомнивших себя вершителями степных судеб, призывали: «Проснись, казах! « Теперь они поняли, что призывали сородичей проснуться вовсе не от той спячки. Но немало было и тех, кто служил ожидая, что вот-вот вернется старое время. У пастуха, все более уверенно чувствовавшего, что истинным хозяином степей теперь является он, было немало поводов для недоверия к этим людям. Он чутко следил за каждым шагом многих из них. И чутье мало обманывало его. Но были редкие, очень редкие случаи, когда пастуху не удавалось добраться до истинной подоплеки совершившегося, так-то просто приходило новое. Оно требовало освоения новых представлений.

В августе двадцать первого года по аулам Павлодарского уезда прошел слух, что сын известного каржаса Имантая Каныш, служивший судьей Баянаульской волости, вдруг исчез. Уехал, якобы, учиться. Все были в недоумении. Толковали по-разному. Одни считали, что в чем-то проштрафился, другие говорили о какой-то женщине, и заканчивали свои догадки неясным вздохом: уж сколько джигитов гибло из-за них! Третьи полагали, что так и должно было быть: сын известного бия, постоянно услужавшего мурзам Шормановым, иначе и не должен был кончить. Трудно ему было служить Советской

власти..

Молва не утихала. Но все сводилось к тому, что не мог сын Имантая уехать учиться. Все было известно, что он - один из ученых молодых людей, если не самый ученый из них в околотке. Кончил он что ни на есть учнейшую русскую школу в Семипалатинске, название-то которой трудно выговорить: семи-на-рия! Считаю, всю жизнь учился!

- Надо подождать,- урезонивали аксакалы, -Время пройдет, все успокоится, поболтается в стороне, вернется. С молодыми людьми это бывает...

- Убежал! Не по пути ему с нами! Волка сколько ни корми, все в лес смотрит! Кругом разорение! Голод! Надо бороться с врагами .поднимать хозяйство! Партия объявила новую экономическую политику, а он, видите ли, выгадал время учиться!. Такого еще и членом ревкома выбирали! - горячились некоторые из молодых активистов, сверстников Каныша.

И все же было странно: когда это было, чтобы честолюбивые потомки Щормана и Сатпая добровольно покидали должности, доставлявшие власть и авторитет? Каржасцы и айдабульцы продолжали сомневаться в благих помыслах сына Имантая и тогда, когда получили, известие, что он поступил в городе Томе в школу, где учат выискивать в земле различные дорогие камни.

Плохо верили тогда выходцам из власть имущих...

Каныш сын Имантая из рода Каржас, что является ветвью большого казахского племени Аргын, входящего в Средний жуз, поступил в Сибирский технологический институт и стал студентом Сатпаевым, используя имя деда Сатпая в качестве фамилии.

Где-то через месяц или два он получил письмо от своего друга Науана Тусупбекова, учительствовавшего в ауле. Друг подробно рассказывал обо всем, что теперь думают и судят о нем , его, земляки, и в заключение писал:

«... Тебе остается действительно только учиться... Ревкомовцы в обиде, на тебя, что ты покинул своих товарищей в горячее время битвы за мировую революцию в аулах. Некоторые из них прямо говорят .что ты их предал. Родичи, далекие и близкие, в обиде, что ты оставил такой большой пост, не считаясь с тем, что теперь некем при случае даже козырнуть:» Ты знаешь кем мне приходится судья Каныш»? Байские токалы -молодухи в обиде, что уехал, не вытащив их из дряблых и ненавистных объятий старых сладострастников. Известная тебе особа в обиде, что ты скрылся, даже не простившись. Тут

приставал к ней один воздыхатель, так она его отбрила показав, что радость его по поводу твоего отъезда преждевременна:

*Что ты кружишь вокруг,
Будто привязь тебе мой дом?
Разве тебе не известно, мой друг,
Что от меня убегают в Том?*

Не говорю уже о законной обиде Шарипа-келиш, на которую нельзя было смотреть без жалости, когда я недавно заезжал к Имантаю-аксакалу выразить почтение. Вот чего ты наделал, мой непутевый друг-Каныш! И никто не думает, что учеба такому ремеслу, как поиски железных и медных камней - достойная причина для нанесения обид близким. Если ты не хочешь стать жалким посмешищем и презренной личностью во всех степях, тебе придется теперь доказать, что обижались на тебя зря.. И если ты, пропавший потомок славного Каржаса, оглобли своей повозки на самом деле направил на учебу, не сворачивай, держи крепче возжи и жми вперед... А на разговоры наплюй...»

Так писал Науан. Он смешил в письме точно также, как это он делал дома, в Баян-ауле, когда они чуть не каждый день встречались то в народном доме, то в школе, то в его маленькой квартире - отау, куда тароватый друг считал необходимым затаскивать при каждом удобном случае, крича маленькой жене своей, что надо накормить и напоить несчастного и одинокого каржаса.

Каныш любил общество Науке (так он обращался к старшему почти на пять лет Науану), потому что тот всегда выглядел (или старался выглядеть), будто ему неизменно везло со всех четырех сторон его бытия. И все же он не считал Науана самым близким человеком и не ожидал от него такого душевного и участливого письма. Нужно было бы быть неблагодарным, чтобы не ответить ему также от души и подробно. И Каныш в тот же день сел было за ответное письмо, но оно в один присест не получалось: так он был занят. И был занят, как ему теперь казалось, очень плодотворно. Оттого-то он с сожалением и даже с брезгливой горечью вспоминал былую семинарскую беззаботность, когда он, будучи уверен, что всегда успеет нагнать, мог без оглядки предаваться всему, что его увлекало помимо учебы. Вспоминал, почти злясь, то, как владело им какое-то чуть ли не кичливое небрежение к аккуратности и педантичности, которые ему казались тогда уделом людей недалеких и малоспособных. Теперь же он всеми фиб-

рами души чувствовал, что не может делать того, что допускал прежде, что нужно много, непрерывно, систематически заниматься, чтобы успевать.

И дело было вовсе не в том, что Каныш чувствовал себя менее подготовленным, чем другие студенты. Наоборот, он попал в среду тех, кого жизнь никак не баловала, кому она оставляла мало места для дельной учебы, кого трепала и корежила лихая судьба, бросая то в царскую ссылку, то под огонь Антанты и белых. Каныш видел, как у того или иного студента в красноармейской шинели желваки ходили по скулам, когда он чувствовал, как крепок для него орешек науки.

Для Каныша теперь само слово «успевать» звучало вовсе не так, как раньше. С этих дней он должен был успевать никак не для того быть в числе успевающих, а для того, чтобы знать.

Это было глупо, что он постиг истинный смысл учебы в учебном заведении на двадцать третьем году жизни. И он, как бы боясь что к нему вернется былая ребяческая безалаберность, весь проникся озабоченностью знать, понять и осмыслить и эта озабоченность не оставляла места ничему другому, кроме лекций, лабораторных и семинарских занятий, подготовки к ним, а также чтения литературы для кругозора, для знания русского языка. Последнее настоятельно рекомендовал ему строгий наставник Усов, у которого теперь он жил и к которому питал те же чувства, что и к старому Имантаю: все, что исходило от Усова, он должен был выполнять с такой же непреклонной точностью и обязательностью, как если бы это исходило от отца.

Писал он, поэтому, своему другу чуть не целую неделю, урывками между занятиями, расстроено удивляясь тому, что он долго и длинно пишет не только от того, что хочет написать задушевно и тепло, а, главным образом, от того, что желаемые задушевность и теплота не получались. Для этого надо было писать всю правду. Но именно этого он теперь не мог сделать. И не потому, что не хотел, а потому, что чувствовал, что в правде сам еще хорошо не разобрался.

Но он знал теперь главное. И оно, это главное, сводилось к тому, что высшее образование в советской стране является важнейшим государственным революционным делом и многие из студентов, что вместе с ним учились, - это были молодые большевики которых обязали учиться их партийные ячейки, заметив в них склонность к углубленным занятиям наукой и техникой, обязали учиться часто против воли их, считавших,

что уход в тишь учебных кабинетов в лаборатории чуть ли не изменой горячему делу обновления жизни.

Получалось, что обида активистов ревкома на своего товарища, уехавшего учиться была напрасной. Наоборот, Каныш должен был бы обижаться на них. Но этой обиды он не чувствовал. И не только потому, что там, в Баян-аульском ревкоме, пожалуй не было ни одного человека, который бы с высоты интеллектуального уровня самой ведущей части большевиков мог зорко оценить роль специалиста высшей квалификации, в будущей жизни степей, хотя все понимали, как уже теперь требовались очень знающие люди. И тем, не менее, ни у кого не было, да, и, пожалуй не могло быть даже в помыслах, чтобы ставить вопрос о направлении некоего товарища Сатпаева в далекий сибирский институт. Он не чувствовал обиды не только поэтому, а, главным образом, потому, что оказался в стенах института не на основе осознания общественной необходимости такого поворота в своей судьбе, а просто от того, что не был убежден, что сможет активно и полезно продолжать участвовать в борьбе за новое, что принесла Советская власть в степи.

И, если его желание стать студентом полностью соответствовало мечтам и чаяниям устроителей новой жизни в стране, то это просто свидетельствовало о том, что малоудачливому судьбе десятого участка из Баян-аула очень повезло.

Вот какие мысли начали бродить в голове студента-киргиза (в то время еще так было принято называть казахов), когда он писал ответное письмо Науану. И вот почему он не мог враз, в открытую, изнутри излиться своему другу. Вот почему, он, в письме к Науану старался с деланной непринужденностью балагурить о том, что теперь бывший нарсудья будет ходить с котомкой за плечами по землям и весям, подобно дервишу-пустыннику, верному слуге Аллаха и его Пророка, и стучать молоточком об любой попавшийся камень, стучать так, чтобы каждый стук жалобно выражал просьбу-мольбу к арухам-покровителям подкинуть смиренному рабу всех неземных владык Канышу, сыну Имантая, хотя бы крупиночку золота, хотя бы кусочек меди. Рассказывал о профессоре Усова, о студентах - товарищах и о многом другом.

Писать же о том, почему он все-таки пришел к решению уехать учиться, оставив семью, родителей, степь, пренебрегши большим доверием, которое ему было оказано, он не стал. Он почувствовал, что писать об этом, не греша против правды, трудно. Поражало, что все бывшее теперь здесь, в Томске, выг-

лядело совсем не таким, как раньше. Видно было, что жизнь, какой бы она еще короткой ни была, враз не опишешь и не перескажешь. Каждый факт, оказывается, остается просто фактом, пока о нем не станешь думать. Как только начинаешь размышлять факт оживает и - становится многоликой частью жизни, готовой услужливо высветить той гранью, какая тебе необходима, если не подберешь тот строгий угол зрения, с которого бы видны были все эти грани в истинной пропорции.

Это удивило Каныша. Это ему показалось открытием. Так вот почему Абай говорил, что каждый человек - загадка. Может быть, загадка даже для себя....

Как бы ни был занят Каныш в институте и дома, теперь все же имелась возможность взглянуть на все прошлое со стороны, издалека, отодвинувшись от сует родной степной жизни, вдали от ее сытости, сидя на студенческом пайке.

...Стоял он однажды на кухне, грея чайник, и не заметил, как проходил Михаил Антонович.

- Ты о чем задумался, Каныш? - Здравствуй! - Каныш вздрогнул, засмеялся.

- Здравствуйте, Извините, Михаил Антонович, действительно задумался. О своем прошлом...

- О прошлом, - улыбнулся наставник, вытирая очки, - Прошлое у тебя, правда, небольшое, молодой, человек, и все же о нем стоит думать иначе на будущее правильно не выйдешь! - и прошел к себе, в кабинет.

Каныша радовало, что, поступив в институт, он вышел, как теперь был уверен, на будущее действительно правильно. Но, как не смешно и не странно, главным виновником этому был начальник Баян-аульской милиции Уахит Шоқанов. Если бы взаимная неприязнь, накапливавшаяся между ними, не вылилась в бурное личное столкновение, Каныш, может быть, не стал студентом, по крайней мере, именно сейчас, а, возможно, и вообще. Хоть садись и пиши письмо товарищу Шоқанову с выражением благодарности и признательности.

Плохо думал тогда Каныш о Шоқанове, думал до того, плохо, что придумывал различные способы мести, пока не убедился, что это очень глупо. Теперь же он понимал, что во всем этом Уахит почти не причем. Он выразил то, что должно было быть выражено. Только, может быть, четче, яснее, напористее и раньше, чем другие.

Когда в марте прошлого года Каныш приехал в Баян-аул и включился в работу только что организованного ревкома, его познакомили с начальником милиции, которого тоже напри-

вили на эту должность из уезда.

Был теплый мартовский день и члены ревкома, собираясь на заседание, не торопились войти в плохо топленный, холодный кабинет председателя, греясь под ласковыми лучами послеобеденного весеннего солнца. Кто-то из стоящих представил Уахита и Каныша друг другу. Не успел Каныш сдвинуться с места, как широкая ладонь Уахита ловко прилипла к ладони Каныша, а короткие пальцы цепко впились и до хруста сжали кисть. Отпустил он руку после такого рывка, вниз, что отдалось в плече. Канышу стало чуть неловко от того, что он, знакомясь с человеком, который, по-видимому, был старше, почти не сдвинулся навстречу. Уахит опередил его, и это, наряду с неожиданно крепким и стремительным рукопожатием, можно было бы принять за особое проявление радости со стороны нового знакомого, если бы не было, видно, что мясистое, обветренное до чугунного отлива лицо Уахита ничего подобного не выражало. Оно, это лицо, смотрело без тени улыбки и тепла, как будто говоря: раз необходимо вместе работать, давайте познакомимся, пожмем друг другу руку без особых церемоний, оттого я и подошел, хотя и старше тебя. Не судите обо мне по толстым и выпуклым щекам, по широко расплывшемуся на мне носу, а смотрите на густые, иссиние-черные, подвижные брови, на жесткие, толстые усы, и, наконец, на острые маленькие глаза с пронзительно-углистыми зрачками и вы тогда увидите мою суть. Вот что говорило лицо нового знакомого.

Казалось, вся его короткая, раздавленная более поперек, чем вдоль, плотно сбитая фигура, с трудом втиснутая в красноармейскую шинель, была переполнена таким избытком силы, ловкости и уверенности, что этот избыток сказывался во всех его движениях даже при самом обычном проявлении вежливости.

Каныш, незаметно покосившись от солнца, посмотрел на тени и улыбнулся про себя, видя какой несуразной, длинной жердью выглядит сам по сравнению с тумбой напротив. Да, твердо стоял на земле этот человек: даже широкие стопы коротких, кривых, от лошадиных боков ног, и те смотрели не по сторонам и не прямо, как у обычных смертных, а как-то внутрь, устремляясь вперед, в единую точку, и тем подчеркивая волю и упорство хозяина.

- Товарищи, обратите внимание, - сказал присутствовавший здесь же представитель уездного ревкома, - такое радушное знакомство двух местных опор революционной законности

говорит о том, что в районе Баян-аула антисоветские выходы будут быстро устранены, а пролетарская правда и большевистский порядок будут установлены в лучшем виде.

- Очень будем стараться, товарищи. Что касается меня, то я вполне понимаю, что моя работа во многих случаях будет оцениваться товарищем Сатпаевым и успешность ее будет зависеть оттого, какова будет эта оценка. Ведь может же быть так: приведешь преступника, а судья скажет: ты кого привел? Это вовсе не преступник! - спокойно отпарировал Шоканов. При этом закинутую как у всех низкорослых людей, назад голову склонил чуть вправо набок и с ухмылкой сощурил глаза.

Каныш уже точно и не помнил, что сказал тогда на это, скорее всего пробормотал, что-то вроде того, что дело общее, что будем вместе разбираться и т.д. Между тем, весь облик Уахита свидетельствовал о том, что надеяться в своей работе на такого, с позволения сказать, судью не собирается. Это задело Каныша. Он злился потом, что тогда сразу не смог, не нашелся сказать, что этого не будет, ибо есть еще и главный судья ревком партия, народ. Они не позволят ни Шоканову, ни Сатпаеву отходить от объективности и правды.

Между тем, голос и в особенности находчивость и уверенность Уахита кого-то напоминали. Сидел на заседании, смотрел на брови и усы Уахита и все больше скребла мысль, что где-то его видел. И уже поздно вечером, идя к себе на квартиру, он, наконец, вспомнил.

Он был старше Каныша года на два-три. Встретил его лет шесть назад, когда в последний год учебы в Павлодаре приехал в аул на зимние каникулы. В соседнем ауле из каржаского рода Кул появился новорожденный. Пригласили на игры шильдехана. Когда после угощений молодежь осталась играть в соседа-соседку, Каныш заметил, как маленький, коренастый, узкоглазый, черненький юноша успевает выпаривать и не отпускать от себя понравившуюся девушку, сыпля пословицами, поговорками, на ходу, складно сочиняя четверостишия на подвернувшуюся по случаю тему.

Юноша всем нравился. Особенно понравился восторженному старшему брату Каныша Бокешу. Парня звали Уахитом. Сын Шокана из рода Орманши, что кочуют около гор Акбеттау, где-то аж за Баян-аулом. Это не менее, чем в ста верстах на северо-запад от зимовий Шормана и Сатпая, а появился он среди кулов просто по праву родства: его мать вышла из этого рода. Принято было в казахских аулах баловать жен, отпрыс-

ков от девушек, отданных в дальние роды.

Бокеш, очарованный остроумием Уахита, пригласил его в гости. Но в доме Имантая он вел себя как-то скованно, побыл недолго и больше не приезжал. Видно было, что парень находится в ауле матери не из желания весело провести время, а просто по бедности. Выдавали подшитые сапоги, потертая по углам шапка-тымак и старый полушубок-тон, явно изношенный не им самим.

Он был сверстник Бокешу и Каныш, выглядевший не ровней, с ним почти не разговаривал, да и гость, казалось, не обратил на младшего брата внимания. Так и забыл его Каныш.

Между тем, в Баян-ауле, его знали. Он здесь учился в школе, а потом, говорили, уехал в русско-киргизское училище; уехал, при очередном наборе, снарядившись вместо байского сына, желавшего не учиться, а жениться. Кажется, в Омск. Уехал и его забыли. Родители, у которых он был один, умерли, братьям - отца было не до него, помоги, аллах, самим выжить. Никому не было известно, где он пребывал в это время. Увидели его тогда, когда проходил через родной аул конный отряд Красной Армии, гнавший колчаковцев. Не сказал, — большой ли командир, но заметили, что его слушаются, что он — не рядовой. А затем он стался в частях особого назначения, преследуя и вылавливая недобитые остатки белых и их местных приспешников. И вот теперь направлен начальником милиции в Баян-аул.

В Павлодаре, куда выезжал Каныш по работе, один из членов руководства уезда доверительно рассказал некоторые подробности из жизни Уахита; Подробности, которые тогда не могли быть известными широкому кругу людей.

Он действительно учился, и, успешно окончив русско-киргизское училище, собирался поступить в семинарию, как был захвачен водоворотом после февральских событий. В то время в Омске в различных учебных заведениях обучалось много парней из аулов. Из них быстро образовалась группа, безоговорочно поддерживавшая большевиков. Уахит стал одним из самых активных в этой группе. Когда Колчак занял Омск, он бесстрашно выполнял поручения большевиков, перешедших в подполье. А потом, дождавшись Красной Армии, вступил в ее ряды.

В частях особого назначения - чоне он активно участвовал в обезвреживании самых отъявленных негодяев из недобитых остатков белых банд, наводивших страх на села и аулы, проявлял при этом надежную смелость и находчивость. В частно-

сти, рассказал и о том, как удалось Уахиту умело разыграть роль колчаковского офицера, будто случайно попавшего в руки чоновцев, что белобандиты сочли за особое достижение, когда его, измученного издевательствами и истязаниями, вырвали из лап якобы торжествующий и мстительной голодабды. Неизвестно, сколько мотался он с новыми «единомышленниками» в Чингисских и Каркаралинских горах. Мотался, по-видимому, до тех пор, пока не узнал, что необходимо было узнать, а потом «друзей» и «соратников» своих, связанных — си безоружных, присмиривших от дурного, мутного и тяжелого похмелья после очередной попойки, сдал в руки уездной милиции.

Каныш не удивился, услышав столь интересные подробности из жизни Уахита. Это было похоже на него. О нем, пожалуй, ходили бы легенды, если бы суровая революционная действительность не заставляла пока молчать о его делах. Каныш пришел в восхищение от того, что теперь будет работать рядом с таким замечательным человеком. Он восхищался и завидовал Уахиту, верному и бесстрашному бойцу революции. Каныш, не сумевший стать таким бойцом, теперь стыдился тех неприятных впечатлений, которые допустил в себе при первой встрече с ним.

И все же через какое-то время (он уже не помнил, когда это началось) Каныш стал замечать, как у него внутри, рядом с восхищением и уважением упорно дает себе знать какое-то другое чувство, которое постоянно ловит и невольно обращает внимание что-то тревожное, неприемлемое в поступках и речах Уахита, на что-то идущее вразрез желанию быть близким к этому человеку.

В частности, однажды Каныш, как ответственный за культурпросветработу, докладывал на заседании ревкома о состоянии обучения детей и подростков во вновь организованных школах.

Речь пошла об одной школе, где помещение, выделенное для нее не отапливалось и школьники перестали ходить учиться. Каныш считал, что аульный старшина, который должен был помочь, не оказывал содействия. «А где учитель, что он делал, что распустил учеников»? - жестко спросил Уахит. Каныш ответил, что это очень скромный, очень боязливый по природе молодой человек, который, наверное, никогда не наберется смелости жаловаться на аульного. Но зато, - добавил он, - это - грамотный учитель и учащиеся к нему относятся хорошо. «Знаем мы этих боязливых, байский сын, вот где ко-

рень зла! - бросил реплику Уахит и замолчал. Хотя эта реплика и не сказалась на решении ревкома, она произвела на Каныша неприятное впечатление: учитель действительно был из богатой семьи, но этим никак не определял свое поведение, был скромнен и добросовестен. Когда об этом он сказал Уахиту по окончании заседания, тот выслушал, помолчал и перевел разговор на другую тему.

Каныш не мог не заметить, что для Уахита люди четко делились на баев - богачей и кедеев - бедняков. И тот, кого он относил к баям, был у него всегда на подозрении, а тот, кого относил к кедеям, не вызывал сомнения. И эта четкость сковывала природную гибкость его мышления. Очень много было случаев, когда Уахит воздерживался от голосования именно потому, что ревкомом оказывалось доверие тому, кого он считал баем, и недоверие тому, кого он считал кедеем. Он был достаточно умен, чтобы не доказывать с пеной у рта свое при явном недостатке конкретных аргументов, однако по тому, как вздрагивали жесткие усы и как угрюмо сближались густые брови, Каныш чувствовал, что данным решением Уахит не доволен.

В обращении Уахит был грубо фамильярен и в этом Каныш чувствовал какую-то нарочитость, пока не понял, что малохарактерная для степного быта краткость рублеными и неизменно подсолонными фразами, когда кажется, что приветствующий для выражения почтения, вламывается в юрту прямо на коне, усвоена Уахитом по убеждению. Он считал, что честные, настоящие мужчины во взаимоотношениях должны держаться именно этой непритязательной короткости, если не хотят скатиться к буржуйско-байской гнилости и неискренности, прикрытой, как он считал, так называемой деликатностью и вежливостью, отвратительно-приторными свойствами изнеженных и расслабленных от постоянного безделья душ.

Уахит был не так разговорчив и словоохотлив, каким показался когда-то в ауле рода Кул. Жизнь, видать, научила сдержанности. Но в тех случаях, когда кто-то попадался ему на язык, давал волю своей находчивости: едкие и остроумные замечания, ехидные и меткие определения как бы случайно срывались из-под его усов.

При встречах с Уахитом Каныш старался держать себя непринужденно, предупредительно-почтительно, на грани той деликатности, которую Шоканов терпеть не мог. Удивляло, что Уахит воспринимал это спокойно, почти, как должное, хотя подобная изысканность со стороны других вы-

зывала в нем брезгливость и он не мог в таких случаях обойтись без едких острот, сопровождая их сверканием маленьких глаз.

Каныш, по-видимому, тонко нащупал грань, где неизменная вежливость особо подчеркивает независимость и достоинство. Этим Каныш начисто отметил всякую возможность подлаживаться под тот грубый тон, под который попадали многие другие, с кем имел дело самоуверенный и волевой Уахит.

И вот этот человек яснее прямее всех выразил то, о чем догадывался Каныш, что было предметом его тревожных раздумий.

Каныш уже более полугода жил и работал в Баян-ауле. Побывал во многих аулах окрестных родов Айдабол, Жагалбайлы, Орман-ши, Кулик. Судил, агитировал, рассказывал о пользе грамоты и науки, следил за работой трудовых школ, познакомился с новыми для него людьми, стал своим человеком во многих юртах. Аксакалам он нравился тем, что мог проникновенно беседовать на занимавшие их не всегда легкие темы, а молодежи умением доходчиво, со стариковской мудростью толковать о жизни и увлекательно рассказать о коммунистическом будущем. Он просто и непринужденно включался в их веселые игры, нередко затевал их сам. Но это случалось все реже, аксакалы требовали к себе внимания, всегда желая поговорить о политике Советской власти, об аульных и семейных делах. Это льстило самолюбию молодого человека, и все же не раз чувствовал себя стариком поневоле, с завистью глядя на развлечения аульных юношей и девушек.

Вчера Каныш закончил одно сильно взволновавшее его дело. Он волновался при решении судебных дел всегда, но это дело не было похоже на другие и трогало, казалось, совсем иные струны чувств.

Он мог вчера же и доехать до Баян-аула, но подумал о том, что там в тесном сосновом пятистеннике, снятом под квартиру, валяются на полу трое отпрысков деда Сатпая, которых взял Каныш к себе, чтобы они, вместо того, чтобы болтаться без толку в ауле, учились здесь в школе. Храпят, конечно, рядом с ними два аульных друга, работавших в ревкомовских учреждениях и никак не понимавших, что их присутствие может мешать хозяйну жить и работать. А в передней комнате бог знает сколько гостей-каржасцев, которые, приехав по своим делам или будучи проездом из уезда наверняка завалились ночевать у своего Каныша.

Каныш живо представил себе, как слезши с коня, почти к полуночи откроет дверь и как обдаст, почти ошпарит его затхлый, прелый, весь наполненный человеческими испарениями воздух пятистенника, и с каким чувством брезгливости и недовольства будет добираться до своей кровати. Как только он это представил себе, сразу же пришло решение завернуть в аул Молдабека и заночевать в уютной и опрятной юрте этого аксакала, аул которого только что прикочевал к озеру Джасыбай и расположился недалеко от своего зимовья. Тем более после этого удивительного дела он не хотел торопиться. А дело было самым обычным. Молодая вторая жена - токал требовала развода. До сих пор такие дела, (а их уже рассудили молодой судья немало) очень осложнялись глупым, а подчас и диким поведением тяжущихся сторон. Как правило, на развод подавали женщины - токалы после попытки (часто неоднократной) бегать, после того, как успевали вмешаться в дело не только родственники истицы, но и какие-то мужчины со стороны, сердечно расположенные к ней. Оказывалось, что уже были потасовки между семьями и аулами, барымта с угоном окота, с, взаимными оскорблениями и т.д. Истица требовала развода, а старый муж - возмещения за материальный ущерб, за побои, оскорбления и еще аллах знает за что. Попробуй разобраться кто прав, кто виноват. Хотя такие дела и заканчивались неизменным удовлетворением требования молодой женщины, однако не обходилось без прокуратуры, милиции, без процесса с участием защиты и обвинения, что при недостатке грамотных людей организовывать было очень нелегко. Словом, на успокоение разгоревшихся страстей уходило много времени и сил.

В данном же случае все началось и закончилось удивительно просто.

...Кто-то занес листочек измятой бумаги, на одной стороне которой четкой арабской вязью было написано, что к товарищу Сатпаеву, как к человеку, который уполномочен советской властью для защиты бедных и обездоленных, обращается она, Анипа, жена-токал Борамбая из аула номер такой-то и просит развести, т.к. ей всего семнадцать лет и она не желает продолжать оставаться в качестве токал у человека, которому более шестидесяти лет. Письмо заканчивалось стихами:

*Славный сын степей Каныш!
Ты несчастным счастье дарить.
Пленницу-птицу из лап дракона
Когда придеешь и освободишь?*

Стихи не ахти какие, но написаны были, как и само письмо, довольно грамотно.

Каныш этому не удивился. Находились в аулах сочувствующие молодым женщинам и писали за них: часто даже оказывалось, что жалобщица и не думала жаловаться, а письмо от ее имени шло в суд. Было и такое. Особой осторожности требовали эти жалобы.

Возвращаясь после одного скандального дела, разгоревшегося из-за пастбищ между айдабольцами, Каныш решил заехать в аул этой самой Анипы и остановился у председателя аульного совета, молодого человека из бедняков. Порасспросил об аксакале, оказался тот самый Борамбай, муж Анипы. Состоятелен, имеет более ста лошадей, несколько сот овец. Раньше был богаче, теперь в угоду времени поприжал себя. Семья дружная: старшая жена, тоже молодая, но не рожавшая. Правда, она не первая. От первой жени, умершей, двое сыновей, лет под сорок, живущих отдельными большими семьями. Старик был недоволен сыновьями, считал их глупыми и ненадежными, и ему не давала покоя мечта иметь сыновей, которые бы уродились в него (он считал себя умным и хитрым); и он сердясь на жену за бесплодие решил, как говорят, обновить постель. Токал Анипа в этой семье выглядит как будто вполне довольной своим положением, ничего хотя бы намекающего на желание ее уйти от старого мужа никто не слышал.

Каныш, решив, что кто-то писал за Анипу и что та об этом должно быть И не подозревает, собрался было не тревожа никого, уезжать как рассудительный председатель аульного совета предложил все же проверить. Это можно было сделать через хозяйку, жену аульного, которая приходилась дальней родственницей Анипе и была в близких с ней отношениях.

Хозяйка вернулась удивленная и расстроенная. «Вот же негодница какая! Спокойно мне сообщает: да, посылала, хочу уйти от старика... Вот эта родственница, вот эта подружка, кому-кому, а мне-то она должна была сказать! Вот ведь какая, убьет кого-нибудь, а сделает вид, что ничего не произошло!» Свое возмущение она, конечно, излила мужу, который и передал Канышу, что заявление в суд действительно подавала она, Анипа.

Каныш почувствовал, что тут нет необходимости ни расследовать, ни вызывать официально истицу и свидетели, а надо поступить проще. И он решил в сопровождении аульного пройти с выражением почтения к аксакалу-мужу, как к стар-

шему аула, а там уж видно будет, как поступить.

И вот они сидят в просторной юрте Борамбая, осеннее солнце в зените, тундук открыт, в юрте светло. Познакомились, посидели, помолчали, расторопная еще цветущая байбише успела подать кумыс. Аксакал отпил глоток, подавая пример гостям, и чуть раскачивая в правой руке пиялу, левой потеревил редкую бородку. Слегка кашлянул и сказал:

- Восторгаюсь советской властью, до чего она правильная! Вот вы, молодой человек, судья. Большой бий. А приехали вы, оказывается, вчера и никто об этом, кроме нашего аульного и не знал. Сидите теперь вот у меня и кумыс пьете. Зашли к старику по старинному обычаю выразить почтение, как самый простой человек, проживший здесь в ауле весь свой век. А раньше, разве позволял себе этого тогдашний судья-бий? Едет он, да не один, а с целой толпой помощников и прихлебателей. Весь аул сбивается с ног, чтобы угодить. Кровь животных льется ручьем: бараны не к чести, жеребят режь! Бий тогда приносил с собой не справедливый суд, а настоящий джут!

Не простеньким оказался старик. Плотненький, ладно скроенный аксакал был, видать, себе на уме. Не напрасно вокруг остреньких глаз то сгущались, то расходились глубокие морщины, будто выдавая сердечность и открытость характера. Что, он думал в этот момент о советской власти на самом деле, знали лишь аллах да он сам, а вот приятными, складными словами успел осыпать.

В юрте, кроме хозяина и его старшей жены, сидел еще один мужчина лет сорока, которого аксакал не представил. Но месту, где он сидел, по обличью можно было предполагать, что это - старший сын. Истица почему-то не появлялась. Без нее начинать разговор было опасно. Каныш уже начал подумывать, нужно ли начинать вообще разговор: вдруг та откажется, а старик поднимет шум - разбивают семью, разрушают согласие в ней!...

Наконец, вошла, должно быть, она. Покосясь в сторону гостей, еле заметно шевельнула губами в знак приветствия и с каким-то легким изяществом подняла большой; желтый самовар и вышла.

Юное смуглое личико сердечком глядело из белого, строго закрывавшего все, кроме лица, кимешек. Каныш заметил большие черные глаза, да разлетевшиеся четкие брови. Роста, пожалуй, высокого, выше аксакала.

Теперь она не придет, пока не вскипит самовар. Надо дожидаться, надо утвердиться каким-то образом, что она не

откажется от своего заявления.

Каныш следил, любясь за красивыми, мягкими движениями юной токал, пока та ловко, неторопливо и в то же время быстро собирала дастархан; удивился искусству, с каким она дозировала заварку, сливки и кипяток, чтобы получился чай того вишневого цвета и терпкого вкуса, который удается редким женщинам.

- Вас зовут Анипой? - спросил Каныш, когда чаепитие подходило к концу.

Да, меня зовут Анипа, - ответила женщина спокойно, негромко, приятным грудным голосом. Черные глаза обратились в сторону гостя, и сразу же опустились, как будто говоря, что она никогда не откажется от своих слов.

Старик опешил. Складки на лице сгустились, глазки зло засверлили гостя.

- Дорогой судья, - сказал он, голосом, потерявшим прежний располагающий медок, - вы уже знаете имя моей токал. Это для меня большая часть. А имя моей байбише знаете?

- Нет, имя вашей байбише не знаю, - сказал Каныш, облегченно, вздохнув про себя, ибо старик своим ехидством упрощал переход к делу, - имени нашей байбише не знаю, потому что она не подавала заявление. А вот гражданка Анипа, сноха Сагная, подала заявление и поэтому я вынужден был спроситься, она ли Анипа, сноха Сагная. А теперь, поскольку эта гражданка действительно Анипа, хочу спросить: обращались ли вы, Анипа, с заявлением в суд?

В юрте установилась мертвая тишина. Все, словно онемев, уставились в Анипу. Та, как ни в чем не бывало, подтянула дастархан к себе, чтобы собрать и унести. Потом подняла голову и впервые, глядя прямо в лицо гостю, сказала:

- Да, подавала заявление я.

- На что ты жаловалась? - не вытерпев, сказал аксакал.

Женщина не торопилась с ответом. Она отнесла к двери самовар, осторожно перетянула дастархан с чайной посудой и остатками съестного села слева у двери, ниже байбише, и лишь тогда ответила:

- Не жаловалась ни на что, а просила, чтобы способствовали уходу из-под этого шанрак.

- Что ты, бесстыжая, мелешь? Взял тебя нищую, нормального чапана на тебе не было, в бархат и шелк обернул, нищих родителей твоих осчастливил, едят мое, ездят на моем, одеваются в мое... - начал было распалаться старик, теряя выдержку и степенность, но Каныш остановил его.

- Аксакал, попрошу вас успокоиться. Вы не из тех шумливых стариков, что в порядках не разбираются. А человек, как говорится, выдавший виды. Я понимаю, что вам неприятно, но вы же знаете, что кричащий в гневе смешон. Будете, отвечать только на мои вопросы. Анипа, почему вы хотите уйти из этого дома?

- Хочу уйти, потому что мне, семнадцать, а мужу шестьдесят два. Какое будущее меня, токал, здесь ждет? Мне хочется стать, самостоятельной, пользоваться правами, предоставленными советской властью.

- Какие-либо претензии к мужу, к семье имеете?

- Никаких претензий не имею. А то, что говорил аксакал - это правда. Но только теперь, говорят, что баи свое добро не своим трудом нажили, что это добро — по справедливости должно принадлежать тому, кто работал. Мой отец, смирный и тихий человек, у своего бая и зиму, и летом, и день, и ночь косяки сторожил, на солнце пекся, в пургу мерз с лошадьми, а оставался нищим, и меня из-за нищеты продал. Думаете, ему не жалко было меня... Да деваться некуда было. Теперь только, слава аллаху, ему стало легче.

- У вас есть дети?

- Да, есть сын, второй год пошел.

- А как с ним быть?

- Как решите.

Это удивило Каныша. Не было случая, чтобы мать не боялась, что отнимут у нее ребенка. Но тут вмешалась байбише.

- Дорогой мальчик-судья. Ты не обижайся, что так обращаюсь. По возрасту ты мне сыном приходишься, - сказала она, обратив в сторону гостя умное лицо свое, которое под белоснежным высоким цилиндром жаулыка показалось Канышу каким-то озаренным и располагающе приятным. После ее слов: по возрасту ты мне приходишься сыном - он мельком подумал даже, что наверное вот такой же красивой, статной, опрятной, белолицей и полной зрелого женского достоинства была бы и мать его. Подумал, удивляясь тому, что она, его мать, именно такой сложилась, по рассказам, в воображении.

- Пожалуйста, говорите, - сказал Каныш, будто ожидая, что вот она, эта до сих ни слова не проронившая, но, должно быть, умеющая говорить байбише, скажет такое, что все разрешится само собой без ненужного скандала и сопутствующих ему осложнений.

Подала Анипа заявление в суд и правильно сделала, - спокойно начала было байбише, как сидевший напротив нее у

двери справа старший сын хозяина громко и зло прервал ее:

- Ты что, старик, окончательно с ума выжил? Ты что бабский суд устраиваешь над нашим шанраком? Или мы сами хуже баб стали? Пусть засудят, пусть прогонят сквозь сверленные горы, пусть сошлют туда, где на собаках ездят, но я этого не допущу! Лучше сам своими руками спущу шанрак и предам огню, чем терпеть такой, позор! - кричал сын, весь побурев, и видимо, теряя самообладание.

- Тайт! - внушительно остановил сына отец. - Тайт! Не твоя жена, шенок, подала заявление. Пойми, дура, баба взбунтовалась, пена на воде вздулась, сдунешь - ее не будет! А шанраком будешь распоряжаться, когда я умру. А сейчас не понукай. Молчи и слушай, не то - уйди!

- И уйду, - сказал тот. Поднялся и ушел.

- А вы продолжайте, - обратился Каныш к байбише.

- Так, вот я говорю, что Анипа правильно поступила. Что человеку нужно: хорошо одеться и три раза в день поесть? Если так, то нам грех было бы жаловаться. Все у нас есть. Только вот слышим, что теперь власть такая, что желает, чтобы люди по любви, свободно, без принуждения сходились. Можно плохо одеваться, хлебом, да водой перебиваться, но когда с человеком по сердцу живешь, - нет краше жизни. Что греха таить, с детства человек об этом мечтает. Вот он меня взял, тоже ведь уже старик был, а я была такая, как Анипа. Покойная мать Ахмета, что сейчас ушел, не будь плохо помнута, имела тяжёлый характер, ревновала жестоко, а я еще была ребенком, только что пятнадцать исполнилось. Не буду рассказывать, как она надо мной измывалась. У меня и ребенок из-за нее мертвым родился, а после аллах мне не судил зачать. Заболела, умерла, бедная, в муках. Я стала хозяйкой дома. У самого двое сыновей, две юрты внучат, казалось бы, пара уgomониться, а нет, заладил, не рожает, еще могу свою семью растить, жениться буду... Вот и купил Анипу, также, как и меня. Ты, прости меня, мальчик мой, я, наверное, все должна говорить. Привез он Анипу, а у меня сердце в печенках жжет. Ревную. Смотреть на нее не могу. Вспоминаю, как надо мной покойная издевалась, молчу и терплю. Несколько месяцев терпела. А она тоже молчит, красивая, стройная, что твой тростник, большеглазая и печальная. И вот сам куда-то, помню уехал. Ночью за очагом оказались вдвоем.

- Ай! - говорю, по имени до этого ни разу не обратилась, - что-нибудь от старика там внутри у тебя есть? - А она как заплачет, заревет, все тело ходуном ходит, не могу успокоить. И

вдруг разревелась сама. Вспомнила, что у меня двадцать лет назад мертвой родилась девочка, что вот она могла бы вырасти такой же и, может быть, тоже красивой... Сидим вдвоем, плачем... Наплакались, наговорились и что-то такое случилось, что она мне стала не кундес-соперницей, а какой-то родной, может быть, такой же родной, как та моя покойница - дочь... Тогда же я поняла, что она слишком молода и умна, чтобы продолжать жить здесь. Сын... О сыне пусть решает сама. Но если она доверит его мне... - У байбише на глазах появились слезы. - Ведь на руках ношу с рождения.. Уай, Асия, принеси сюда Алпысбая, - закричала она, чтобы слышно было в соседней маленькой юрте. Когда принесли толстенького годовалого бутуза и тот с ходу потянулся к байбише, она продолжала, - вот видите, верблюжонок мой к кому льнет?.. - Пусть Анипа не думает, что мое сердце от разлуки с моим жеребенком будет надрываться меньше, чем ее.

Байбише заплакала, прижимая к сердцу ребенка, прислонясь к ней, заплакала и Анипа. Две женщины, припав друг к другу, обливались слезами.

- Нет, Анипа, - сказала, вытирая лицо, байбише, - женское горе не выплачешь, пойдем кобыл доить, да казан ставить. Прости нас, мой мальчик, я все высказала, - обратилась она к Канышу, вставая с ребенком на руках.

- Спасибо, апа, - только и мог ответить Каныш.

Уже вечерело. В юрте остались одни мужчины. Установилось тягостная тишина. Аксакал, потемнев в лице, смотрел куда-то вдаль и отрешенно молчал. Молчали и гости. Нарушил тишину Каныш.

- Ну что скажете, аксакал? Теперь слово за вами.

- Что я скажу? Ничего не скажу. Советская власть не для того, наверное, только пришла, чтобы молодые из-под стариковского одеяла жен уволокивали? Неужели молодым женщин не хватает, кроме, как зариться на истоптанное стариками? Где честь, где совесть? - с горечью и тоской говорил старик, Каныш удивился, что аксакал несколько не злится на своих объединившихся жен, а более жалуется на судьбу, на время и на того молодого, который в его воображении уже приготовился забрать его токал.

- Аксакал, вы не правы. Речь идет не о ваших женах, а о людях. Советская власть говорит: женщины такие же люди, как и мужчины. До сих пор все решали мужчины, а теперь будут все вопросы жизни решать и мужчины, и женщины, сообща, при взаимном согласии. Ведь это просто. Теперь ска-

жите, пока женщин нет, как нам быть в связи с заявлением Анипы?

- Для чего у меня это вы спрашиваете? Решаете вы, судья, и решайте. Аллах свидетель, для меня решение властей - закон.

- А как быть с ребенком?

- Ребенок должен остаться у меня. Живым ребенка в руки взбесившейся самки не отдам. Самка без бога, без чести будет переходить из рук в руки и таскать мою семью с собой, позоря мой род, мое имя! Пока я жив, этого не будет, твердо сказал старик и зло засверкал маленькими глазками, враз потерявшими ту задумчивость и отрешенность, во власти которых они только что были.

- Вы злитесь, аксакал, но злость - плохой советчик. Вы только что выгнали из этой юрты сына за то, что злился. И правильно сделали. Теперь и сами будьте сдержанными. Как я понял, вы хотите сказать, что Анипа - слишком молодая женщина, чтобы правильно воспитать сына? Не так ли?

- Да, да, именно так я хотел сказать, да иблис-бес попутал, не те слова на язык подсунул... и лицо старика стало жалким и покорным.

- А как быть насчет енши, насчет принадлежащего ей, она по советским законам равноправный член семьи.

- А кто мне калым возместит?

- Аксакал, вам следует калым считать подарком, которыми обмениваются родственники, а не ценой человека, который пришел к вам в дом. Не к чести требовать подарки обратно, а объявлять во всеуслышание, что вы купили человека, теперь уж вовсе не модно.

- Что с меня, старого, хотите? Я уже перестал понимать, что хорошо, что плохо, голова кружиться. Решайте, дорогой судья, по закону.

Старик почувствовал себя обложенным и затравленным. Хуже всего было, что обложил и затравил его, выдавшего виды и матерого, этот безусый мальчик, не старше, если не моложе, его первого внука.

- Спасибо, аксакал, за доверие. Будем решать по закону и справедливости, - сказал Каныш, уже проникаясь жалостью к растерявшемуся старому человеку.

Женщины вернулись. Анипа не садилась, собираясь, повидимому, снова выйти. Каныш обратился к ней.

- Анипа, присядьте, пожалуйте, ненадолго. Вы решили расстаться с этой семьей. Это ваше твердое решение?

- Да, твердое.

- . . . как быть с сыном?

Услышав этот вопрос, аксакал и байбише встрепенулись и заинтересованно уставились на Анипу. Та молчала и тихо сказала:

- Я хотела бы услышать, что скажет родной отец ребенка? Старика это обращение молодой жены захватило врасплох.

- Что я скажу... что я скажу... Я не отдам его тебе... Моя семья, моя кровь... мой последыш... Ты не прокормишь его, не воспитаешь, ты - молодая... Он будет сиротой и посмешищем...

Старик уже не знал, что и говорить, боясь, что снова оговорится и судья поймает на слове.

- И прокормить, и воспитать смогу. Вы свою токал не знаете. Я - молодая, буду работать, власти теперь обеспечивают плату за труд... Я не боюсь работы.

Анипа говорила убежденно, уверенно и спокойно. Говорила, видно, тысячу раз продуманное. Но тут вмешалась байбише.

- Слушай те, отец детей, вы любите своих детей, а маленького больше всех. Я знаю это. Но никогда отец не мог любить ребенка, больше, чем мать. Поэтому-то справедливый новый закон на стороне Анипы. Но она - не злой человек. Вы и я должны просить ее оставить ребенка у нас. А мы с вами поклянемся перед аллахом и перед людьми, что будем беречь Алпысбая, а подойдет время, не скроем, кто у него родная мать. Поверьте мне: этот мальчик оживил высухавшую, не испытывав материнства, грудь мою. И я, если Анипа решит забрать его, пойду за ним хоть на край света. И я это не для угрозы говорю - не думаю, что, уйдя за Анипой, буду счастливой, но, может быть, пригожусь чем-то мальчику. Вот что я теперь думаю, решайте сами.

Аксакал почувствовал себя еще более затравленным, еще более беспомощным. Почему эти две женщины, до сих пор строго соблюдавшие веления шариата и заветы предков, и поэтому не только не позволявшие, но и не знавшие, что такое несовиновение, никогда не раскрывавшие перед ним уста для лишнего слова, вдруг заговорили разом, вдруг стали проявлять волю и характер? Ему казалось, что это не случайно. Не сегодня же они узнали, что их поддерживает безбожная власть. Они, видать, исподволь готовились к такому дню, как сегодня, когда он не может крикнуть на них, как на собак, не угодивших хозяину, чтобы они, эти собаки, вышли вон из юрты, поджав хвост и опустив уши. Мало того, и этот молодой судья, который видит тебя насквозь и ловит на каждом

слове, и свой аульный, поддерживающий всех бузотеров; всех бессребреников аула, зорящихся на то, что наживалось и берглось из рода в род, оба они, должно быть, сговорились с его внезапно взбунтовавшими женами. Видит аллах, сговорились, чтобы у него, у старого, отобрать токал, нет, даже обеих жен, отобрать сына, а вместе с ними и скот, и оставить его одиноким и нищим в руках глупых и себялюбивых сыновей. Что делать? Кричать, звать на помощь? А кто поймет меня, кто поможет? Прибегут сыновья, не способные ни на один разумный шаг, гвалт и шум поднимут, последствий не оберешься. Вот до чего дожил на старости лет Борамбай!..» Подчиняйся судьбе, Борамбай, уповай на единого аллаха, Борамбай! - сказал он про себя, вслух же произнес:

- Анипа, оставь мне сына. Пробормотав эти слова, он молитвенно обратил взор не к Анипе, а куда-то вверх, должно быть, к аллаху, и, закрыв глаза, угрюмо замолчал. Женщины встrepенулись: аксакал впервые назвал младшую жену по имени: до сих пор только и слышалось: хатын, ай хатын! - баба, ай баба! (Это обращение раньше, пока была жива первая жена, относилось к байбише, теперь же - к молодой токал).

Анипа подняла голову, может быть: впервые прямо оглядев сидящих своими большими, прекрасными глазами.

- Сердце мое надрывается, но я знаю, что оно надрывается у апаи не меньше моего. Не хочу уходить, оставляя за собой горе. Пусть малыш остается здесь.

Вдох облегчения вырвался из груди байбише.

- Анипа, родная, дорогая, будь счастлива и благословенна. У тебя сердце женское, а ум мужской, - говорила она вне себя от радости. Светлее стало и лицо аксакала. Он развернул ладони и прочитал про себя краткую молитву. Кого благодарил он в молитве: то ли судьбу, то ли Анипу - не мог бы и сам точно сказать.

- Анипа, сказал Каныш, - вы умно, прекрасно, человечно поступаете. Теперь вы должны сказать свое мнение и о следующем: все, что есть в этой семье, у аксакала, это все общее. Каждый член семьи имеет право на свою долю. Аксакал сам может оценить и отдать положенное вам, а может, если потребует, и суд присудить... Вот здесь аульный, кто, чем владеет, он точно знает...

Анипа на это ответила кратко:

- Я оставляю сына - самое дорогое для меня существо. Так неужели вы думаете, что я буду судиться и рядиться из-за

скота и тряпок? Мне ничего не нужно. Если аксакал обеспечит мне проезд до Оренбурга, буду благодарна...

Тут аксакал и байбише удивленно обратились к Анипе. Это было уж совсем ново. Они слышали, что где-то есть город Орынбор и где, рассказывали, теперь будет центр всех казахских степей, но почему и зачем понадобилось Анипе ехать туда, было совсем непонятно. Еще менее понятно было, почему она отказывается от скота и добра. Уж не тронулась ли бабенка?

Каныша это тоже удивило, но поскольку желание Анипы ехать в Оренбург к делу не относилось, он не стал трогать эту тему.

Он обратился к аксакалу, чтобы спросить, что он скажет по поводу просьбы Анипы, и увидел, что лицо аксакала выражает не то радость, не то недоумение.

А радоваться было чему. У него остается малыш, в котором, как и все степные старики, он души не чаял. А главное, остается нетронутым его косяк. А когда цел косяк, токал найдется.

Было отчего и недоумевать. Какая блажь заставляет бабенку отказываться от всего - от сына, от раздела? Не скрывается ли здесь какой-то подвох? Недоумевал оттого, что совсем не знал свою жену. Женщины для него были существами, удовлетворявшими его похоть и служившими временным жилищем для его детей. Он никогда не снисходил до разговоров с ними.

И все же тому, что слышал аксакал, нельзя было не радоваться. И он весело сказал:

- Все, что она просит, аллах свидетель, выполняю...

Уже было поздно. Осенний вечер дал знать себя прохладой. Разожгли очаг, накинули на спины чапаны. Потянуло вверх теплым, уютным дымном. Каныш решил завершить разговор и остановил Анипу, которая уже несколько раз порывалась уйти.

- Теперь последнее. Когда вы, Анипа, собираетесь покинуть аул?

- Если аксакал разрешит ночь побыть с сыном, я остаюсь на эту ночь. А завтра попрошу отвезти в Баян-аул.

- Ведь тебя, Анипа, аллах привел сюда, под этот шанрак, велел остаться на всю жизнь. Из этой всей жизни ты теперь просишь всего одну ночь... Неужели твой аксакал будет гневить аллаха и запретит эту последнюю ночь... Нет, н буду я аллаха гневить... - попробовал пошутить, приходя в себя, аксакал. Анипа засмеялась. Смех был негромкий, приятный, груд-

ной.

- Нам с апай сегодня надо делать той на весь аул. Аксакал второй раз обращается ко мне по имени. Так, пожалуй, он теперь и к апай будет обращаться по имени. И обращаться будет даже с шуткой... Вот как сейчас...

Аксакал опешил. Мало ему мальчика-судьи, которому опасно лишнее сказать, теперь и токал стала ловить на слове.

- Теперь вы, женщины, хозяева жизни. Созывайте той, объявляйте байгу, распоряжайтесь...сказал он, как будто в тон шутки Анипы, но почувствовал, что в тон не попал и говорит не то, что нужно, говорит от злости, от растерянности, говорит, унижая себя. И замолчал.

Тягостное молчание прервал Каныш.

- Аксакал, мы по заявлению гражданки Анипы все, кажется, решили. Я хочу поблагодарить вас, вы показали себя разумным человеком, понимающим, что несет и чего желает советская власть. А сейчас, если разрешите, мы пойдем, пора отдыхать.

- Нет, сказал аксакал, - никуда не пойдете. Одного позора для стариковской головы, что токал уходит, достаточно. Позвольте отворотить другой. Отпустить вас, не показав голову ягненка, не могу. Переночуете у меня, в этой юрте.

Выйдя из юрты, чтобы размяться, Каныш удивился, как долго они сидели, была глубокая звездная ночь, аул спал.

Когда принесли наполненный ароматно дымящей ягнятиной астау и поставили перед Канышем, аульный, вынув из кармана острый перочинный нож, кончиком его придвинул лоснящуюся голову ягненка гостю. Каныш вынужден был дать разъяснение:

- Аксакал, спасибо за честь, но с головой расправляйтесь сами, у меня еще жив отец.

- Каныш был доволен сегодняшним днем и вкусно сваренную ягнятину ел с наслаждением, не забыв при этом наделить лучшими кусками дастархан байбише и Анипы.

Когда перешли к кумысу. Каныш счел нужным обратиться к Анипе.

-Анипа, мне сказали, что вы владеете грамотой. Заявление сами писали?

- Да, я сама написала.

- А где вы научились?

- У себя в ауле, у муллы.

- Но ведь у аульного муллы почти все учатся, чтоб хоть немного слова Корана знать, но редко кто выучивается, чтобы

так писать, как вы пишете. Мне показалось, что писал человек, учившийся чуть ли не в медресе.

- Знаете, еще девочкой маленькой я с братом ходила к мулле, потом перестала, потому, что кроме меня, ни одна девочка не училась, но буквы успела выучить. Интересно было, чудно было видеть, как из букв складываются слова. Вот и читала Коран пока весь не выучила. Потом попалась книжка о несчастной любви Лейли и Меджнуна и ту я выучила. Эту совсем интересно было и читать и учить. А потом как-то зашел к нам мулла, отец решил перед ним нахвастаться и заставил меня читать Коран наизусть. Послушал мулла, побурел весь и забрал у меня книги, а отца убедил, что в меня шайтан вселился, чтобы дразнить правоверных мусульман ибо, чтобы так знать Коран, надо десятки лет учиться. Отец испугался, запретил мне читать наизусть и велел никому не говорить о своих успехах. Я тоже испугалась и замолчала, но продолжала потихоньку писать на бумаге, даже некоторым джигитам вместо них сочиняла любовные письма.

Каныш вспомнил, как он сам в детстве быстро выучил суры Корана, приводя в неописуемую радость муллу Нигматуллу и отца. Вспомнил, как рано научился нараспев читать поэмы-хисса, хранившиеся в ящике отца. И не удивился, что Анипа имела такие же успехи. Но зато был очень удивлен аксакал. Но не тому, его токал в своинадцать лет успела каким-то образом столь многого постигнуть, а тому, что он, прожив более двух лет с этой бабенкой, не знал, что она грамотна и знает наизусть Коран. Удивлялся, насколько не досадуя на то, что не удосужился за два с лишним года поговорить с этим вечно печальным, молчаливым живым сосудом аллаха для хранения выведения на свет божий его ребенка.

- Бисмилла иррахман иррахиим, - начал Каныш нараспев и посмотрел на Анипу, растягивая ритмическую паузу.

- Агузы беллахи минашшайтон ирражиим, - продолжила она своим грудным располагающим голосом: продолжала без остановки. Слова Корана лились без усилий, свободно и непринужденно. Закончив первую суру Корана, она перешла ко второй длинной суре. Все заворожено слушали, как она, вся отдавшись музыке непонятных слов, выпевала из себя складные строки Корана. Аксакал то и дело полушепотом повторял: «астапралла!, астапралла!», что выражало, по-видимому, и испуг, и удивление одновременно.

Каныш прервал ее и попросил прочитать двадцать первую суру. Та удивилась - на номера сур она, оказывается, не обра-

щала внимания. Тогда он стал говорить названия сур она читала без запинки, но слова произносила часто неправильно. Видимо, никто ее не поправлял. - Байбише воспользовалась паузой и прервала чтение.

- Слушай, Анипа, это ужасно: столько живем вместе и я не знала, что ты - настоящий мулла. Чувствовала, что ты много знаешь песен, хисса, а что ты знаешь Коран - не представляла. Под каким замком ты это держала?

- А под таким, апай, что считала к чему эти знания для грязной токал. А теперь чувствую, что могла бы чему-то выучиться и поэтому-то хочу поехать в Оренбург. Надеюсь найти там дялю, который бежал из аула во время «приема», скитался неизвестно где, стал красным, а ныне, говорят, является там в Оренбурге, большим человеком. Не признает он меня, что ж, власти помогут, сама выучусь.

Анипа встала, чтобы убрать посуду.

В юрте установилась тишина. Все молчали. Каныш молчал, потому что был поражен целеустремленной волей, разумом этой почти еще девочки, уже способной на такое продуманное поведение, какое она показала сегодня. Председатель аулсовета молчал, думая о том, какую умную, красивую, очень нужную для насаждения грамоты в ауле женщину теряет его совет. Байбише молчала, с грустью в душе прощаясь с послушной девочкой и наперсницей, с которой ей легче было жить. Лишь непонятно было, отчего угрюмо молчал аксакал. Может быть, он досадовал на себя, что не знал какое сокровище лежало у его ног, а может быть, продолжал полагать, что кобылица есть кобылица, сколько ни показывай прыти, в жизненной байге приза не получит.

Сидели молча, пока байбише не дала знак, что пора стелить постель. Поднимаясь, Каныш заметил, что на кереге висит домбра. По привычке потянулся, но не снял, пересилив желание поиграть на ней: было уже поздно.

В аксакальской юрте постелили троим: Канышу, парню-секретарю и самому хозяину. Аксакал, чувствуя, что гость еще не спит, обратился с вопросом.

- Дорогой судья, ведь я не спросил вас из какого роду-племени. Хоть и далек от нас Семей, но знаю, что там живут в основном тобыкты из аргынов и найманы.

-Я, аксакал, сказал вам знакомясь, что я из Семипалатинска, потому что там учился и работал, а по роду - местный, из каржасцев, отца моего зовут Имантаем.

Старик зашевелился в постели, наверное, даже чуть припол-

нял ..

- Слушай, ты известного Сатпая-хаджи внук, Имантая-бия сын? Почему же ты сразу не сказал? Ты же совсем свой мальчик! Чувствовало, чувствовало сердце, что ты не из простой породы....

Канышу не хотелось продолжать разговор и он сделал вид, что заснул, а аксакал, узнав, что судья - сын известного Имантая, успокоился совсем и решил Анипу отправить в Баян-аул так, чтобы и она, и судья были довольны. Засыпая считал, сколько нужно дать токал из денег, припрятанных на всякий случай.

Аксакал встал рано. Распорядился готовить двухконную бричку-телегу. А затем, после утреннего чая, вызвав к себе Анипу, вручил ей деньги и, сухо пожелав доброго пути, дал знак, чтобы уходила. Сам вышел вслед, посмотрел, как укладываются в телегу, вещи, выделенные ей, и, вернувшись в юрту, просидел в одиночестве до тех пор, пока не застучали колеса отъезжающей повозки и пока не стих шум провожания, а провожал Анипу весь аул.

- Что ее, как невесту провожают? - закричал было старший сын, но, видя, что никто его не слушает, скрылся в юрте.

Старушки не оставили на лице Анипы необцелованного места, плакали и обнимали молодые женщины и девушки, прощались с ней мужчины и дети. Молча плакала и Анипа. Особенно тяжело было смотреть, как вся содрогнулась в рыданиях, прощаясь с сыном и байбише.

Из аула Молдабека Каныш выехал рано. Полюбился ему в Баян-аульских горах тот ранний час, когда солнце начинает рассеивать рассветный туман, разрежая ряды горделиво и уверенно устремленных ввысь сосен. Полюбилось ему пробираться малоезженной тропой, вьющейся, прорезая буйную растительность, заполняющую низины между слоеными гранитными глыбами, которых природа создавала, казалось, нехитро наплескивая один каменный блин на другой. Прохваченные теперь осенней желтизной и багрянцем густые кустарники и серостью увядания обильные травы все лето нахально надвигались, лезли на гранит, как будто идя в помощь соснам, сумевшим пробурить и высверлить самое чрево камней, чтобы из года в год непрерывно и постоянно угрожать и теснить бездушную твердь, пока она не превратится в пыль и почву.

«Такова сила жизни!» - вспомнил Каныш почти вслух чьи-то чужие книжные слова и в тот же миг забыл обо всем. Он не видел ничего вокруг, не слышал ни разноголосого пения птиц,

ни легкого пофыркивания широко шагавшего коня, тоже довольно бодрящим утренним воздухом. Он весь, казалось, растаял, растворился в окружающем, так что не нужно было ни видеть, ни слышать, ни осязать, ибо все, что нужно было видеть, слышать, осязать, стало им самим, было в нем самом, слилось воедино с ним.

Очнулся Каныш, когда его серый иноходец зафыркал тревожно, сбившись с неслышанного ритма. Каныш ухватился было за браунинг, лежавший в заднем кармане брюк, как за сосной показалась знакомая голова, шея высокого верного коня, а на нем и сам хозяин - Уахит.

Поздно хватаешься за оружие, враг успел бы свалить и обезоружить! Привет Каныш-батыр, вот не ожидал! - а, воскликнул Уахит издалека, как всегда опережая Каныша своим приветствием.

- Ассалаумагалайком, Уаха! - сказал растерявшийся Каныш, соскакивая с коня, - счастливого пути, откуда его держите?

- Опять тысяча китайских церемоний. Уже успел соскочить с коня. Нужно это? Теперь и мне придется спешить! Эти, мне интеллигенты, - ворчал Уахит, непривычно устало слезая со своего вороного, по впалым и потным бокам которого можно было полагать, что прошел он немало верст.

- А сам откуда путь держишь? Мне по службе положено ночами рыскать, а тебя что заставляет спозаранку садиться на коня?

- Да вот вчера закончил дело, выехал поздно, пришлось свернуть, и в ауле Молдабека заночевать, благо он только что прикочевал.

- Понимаю, понимаю... По виду вижу... Что делает саяк, жеребчик, изгнанный за нескромные притязания из косяка? Мотается, ищет одиноких кобылиц... Ты уже полгода, как отбил от келин, а в ауле Молдабека есть красивые девушки.

Уахит шутил грубо, но он был старше и шутки его приходилось терпеть. К тому же в сказанном Уахитом была и некоторая доля правды. В ауле Молдабека росли две дочери его брата, очень привлекательные и приятные, к тому же умевшие играть на домбре и петь. Каныш несколько раз изыскивал повод побывать в этом ауле, он бывал бы, может быть и чаще, если бы был менее занят, да находились бы достаточно веские причины. Но вчера он был весь во власти дум об Анипе и полудочилось так, что будто даже забыл о двух красавицах, в аул которых заехал.

Каныш со смущением должен был признаться, что повел

себя вчера не очень последовательно. Он почему-то решил, что больше с Анипой ему встречаться не следует. Поэтому велел секретарю суда сопровождать Анипу до Баян-аула, прямо до квартиры Татьяны Берденниковой, которая в ревкоме руководила женотделом. С рыжей, смешливой, смелой и жизнерадостной Таней, дочерью местного большевика, погибшего при изгнании колчаковцев, Каныш был дружен. Эта бывшая гимназистка прекрасно владевшая казахским языком, была ему по душе. Он написал ей записку:

«Дорогая Таня! Это - Анипа, которая сама расскажет о себе. Ты восторженно говорила мне о Жанне д'Арк. Разбираясь с делом Анипы, я вспомнил именно эту француженку. Не смеясь, что фигуры по значению не сопоставимы, но что подделаешь, если та Жанна после тебя самой чем-то напоминает и эту пока несчастную токал... Поговори с ней хорошо и перестанешь смеяться. Было бы здорово, если бы ты сумела немедленно отправить ее в уезд, а оттуда через уездный женотдел, в Оренбург, снабдив, естественно, соответствующими документами, чтобы она могла начать учиться именно в этом году. К тому же при наших диких нравах, когда один хочет немедленно отомстить за потерю токал, а другой - заиметь без калыма красивую жену, такую девушку, как Анипа, лучше не задерживать. У меня много дел. Встречусь с тобой и расскажу обо всем через несколько дней. С революционным приветом Каныш.»

Несмотря на предложение аульного проводить, Каныш выехал из аула Борамбая один. Между тем, ехать в одиночку, да еще судье, было небезопасно: в степях еще гуляла недобитые остатки белых банд. Но Каныш еще был в том возрасте, когда никак не хочется вызвать сомнения в собственной смелости. Он показал аульному свой маленький браунинг, улыбнулся, сказав, что он никак не станет легкой добычей, и уехал. Дорогой, под мерную иноходь серого он невольно сопоставлял добрую, сердечную, молчаливую боготворящую мужа, родителей мужа и всю мужнину родню, красивую и нежную Шарипу, терпеливо, без слова упрека и недовольства ждущую его там, дома, у стариков, в ауле, с этой удивительной токал Борамбая Анипой; думал о том, что, наверное, из-за таких женщины, как Анипа, мужчины теряют головы, лишаются благоразумия. Вот почему он на этот раз, ночуя в ауле Молдабека, забыл про двух красавиц, из-за которых до этого любил посещать этот аул, вот почему он просил Татьяну Берденникову немедленно отправить Анипу в уезд, обещав встретить-

ся с ней, с Татьяной, лишь через несколько дней, хотя и мог раньше. Он чувствовал, что ему видеть Анипу теперь не нужно.

Все это промелькнуло в голове молодого судьи в ответ на шутку Уахита. Вслух же он сказал:

- Уаха! Вижу, что вы очень устали. Давайте посидим на траве, чуть отдохнете, я сниму с седла копшик и положу под вас.

- Ух, как хорошо на земле, - говорил Уахит, делая резкие разминочные движения руками, ногами, всем телом, - нет, Каныш, садиться нельзя, разморит, встать не захочется. Работы много, ехать надо. Мы, кажется, напали на верный след Толеутая и его волчат, двоих, во всяком случае, этой ночью заарканули... Подробности потом расскажу, - говорил он, снова садясь на коня. - Давай-ка, Каныш, выедем на дорогу, чтобы рядом ехать и поговорим, коли встретились.

Они, прищпорив коней, выехали на широкую дорогу, ведущую в Баян-аул и, перейдя на шаг, поехали рядом. Солнце, восходив шее навстречу всадникам, выцветив все окружающее в веселые краски, враз сняло, казалось, с Уахита усталость и настроило его на лирический лад.

- Слушай, Каныш, - начал он, щурясь на солнце, - учился в Омске, не хотелось домой ехать, какая у меня тут родня... Доберешься, а на отъезд разживешься или нет, не известно. Лучше, думаю, оставаться, наймешься на лето, хоть что-нибудь заработаешь... Потом революция пришла, большевикам стал помогать, в Красную Армию пошел, словом, несколько лет не был дома. Настолько соскучился по родному Баян-аулу, аж в сердце щемить стало. Мне эти родные места стали представляться сущим раем, хотя, живя здесь, этого не замечал. А теперь вижу, что тут действительно рай. Вот разделаемся окончательно с буржуями, сделаем истинным раем. Подумай сам. Мы едем сейчас в самое сердце Баян-аула, в середине треугольника меж трех изумительных озер с изумрудной водой, с таким песком на берегах, что, кажется, нарочно перебрали зернышко к зернышку. Слева, на север - озеро Торайгыр, оно вот за этой седловиной, взойдешь на нее, посмотришь, ровно в круглую чашу налили, блестит серебряная гладь... Справа, впереди, вытянулась Сабынды-коль с ее мягкой-премягкой водой, отчего и называют с собственным мылом - сабынды. А за нами, чуть левее озера Жасыбай, лучшего зеркала, чем ее вода, ни одна красавица не находила. А внутри и вокруг этого треугольника, в окружности, наверное, не достигающей и сот-

ни верст, горы, невысокие, кряжистые, с каменными изваяниями, посмотришь на эти изваяния и думаешь: живое существо из сказок, только когда и как оно окаменело? А сколько лесов, пещер, густотравных, плодоносных склонов, сколько источников с вечно живой водой... Для наших предков Баян-аул был зимним становищем. К глубокой осени стекались аулы с тучными стадами с неоглядных равнин сюда в центр, к горам, и постепенно, исподволь примеряясь, приближались к зимовкам, спрятанным в низинах, у подножий, вдали от зоны ветров; приближались так, чтобы отары и косяки не столтали до времени траву, которая будет спасением в зимнюю стужу. И укрывались аулы в многочисленных укромных углах Баян-аульских гор для того, чтобы под защитой его сопок, каменных стен и лесов пережить зиму. А весной снова растекались во все стороны на расстояние от одной до трех сотен верст, в раздольные просторы степей. Так и было, пока русский царь не решил, построить здесь укрепление, чтобы пугать мирных скотоводов. В начале он на самом деле пугал, а потом поселившись здесь русские, оказавшиеся такими же людьми, как и мы стали брататься с нашими предками, заговорили по-казахски, во многом переняли наши обычаи и Баян-аул из укрепления, угрожавшего пулей и пашкой степям, превратился в мирный пункт, где пошла торговля, обмен, где возникли очаги ремесла, грамоты,.. где наш брат скотовод стал учиться земледелию... А теперь здесь мы с тобой вот стараемся, как можем, помочь мировой революций. В Омске один большевик, побывавший здесь в Баян-ауле, говорил мне, что, когда революция победит окончательно, баян-аульский целебный, воздух, баян-аульская живая вода, крупинчатые пески баян-аульских озер будут использованы для укрепления здоровья трудового народа, что тут возникнут сказочные дворцы - сараи, полные солнца, жизни и бодрости. Вот какие дела, дорогой судья, Каныш-батыр. Говорил Уахит каким-то малоприсущим для него негромким, проникновенно-душевным голосом, без привычных резких жестов.

Каныш посмотрел на своего спутника и удивился. Обгоревшее за лето от горного солнца, обветренное всеми баян-аульскими ветрами чугунное лицо его отдавало какой-то лучистой мягкостью, маленькие глаза были устремлены задумчиво вдаль. Каныш никак не полагал, что в этом пружинистом комке энергии, который, казалось, состоял лишь из цели и дела, сидел мечтатель и поэт, умеющий предаваться очарованию красоты и грезить тем, что нескоро осуществимо. И потянул

его на разговор откровенный, чистый, честный, когда хочется вылить, вычерпать все, все что на душе. Такие разговоры не начинаются издалека, для таких разговоров всегда отталкиваешься от того, что волнует, занимает тебя сейчас, а там уже, как говорится, куда аллах поведет. И Каныш рассказал Уахиту об Анипе, со всеми подробностями и деталями, не тая и того, что теперь не хотелось бы видеться с ней.

Уахит слушал внимательно и заговорил не сразу. Молчал, раскачиваясь в такт ходкому шагу вороного. Молчал, так, что Каныш снова посмотрел на него, ибо такая пауза была малохарактерна для этого скорого на слова человека. Потом заговорил. четко и убежденно.

- Каныш, ты правильно поступил. Пусть эта Анипа едет учиться. Именно такие боевые женщины будут строить новую жизнь. Надо, чтобы у нас, наряду с образованными, умными, мужчинами учились и росли умные, образованные и красивые женщины. Иначе в мировой революции нам не преуспеть. Из века в век внушали нашей женщине, что она должна быть бессловесной и послушной, что у нее волос длинен, а ум короток. До сих пор у нас, в степях, главным достоинством невесты считается умение молчать. - «Режь ее - слова не скажет», - хвалят иную волоокую молчальницу. Она, наша женщина, и убедила себя, что такой и должна быть. Знаешь, что сказала твоя женгей, когда я ей стал говорить, что она должна учиться, чтобы догнать меня и быть равной со мной? Ты не смейся, она дословно сказала: «Отец моих детей, мне свыше суждено быть под тобой, не шути, не искушай меня греховными мыслями... «Вот что она сказала. Попробуй после этого поговори с ней. Никак не могу заставить себя по имени называть. Так и называет: Отец моих детей.

И все же ее, нашу женщину, надо нам поднять до своего уровня. Она достойна этого. Прежде всего, не надо превращать ее в игрушку в наших руках. Вот хотя бы случай с Анипой, о котором ты мне рассказал. Я тебя очень понимаю. Ты молод, я тоже не стар. Мы состоим из мяса и костей, а еще у нас есть сердце. От красивого, привлекающего взор сердце начинает трепыхаться, а в мясе и костях начинается нитье и щекотание... Ничего не поделаешь- это природа. Но у нас есть еще голова. Так вот у меня в Омске учили, в особенности на это напирал ученый большевик Койбасов Балберген из Кокчетава, полуказах, полутатарин, полурусский (помесь козы с архаром и сайгаком - шутил он над собой), что голова дана для того, чтобы разумно взнудывать предательские позывы,

идущие не от ума. В этом смысле ты, Каныш, молодец, и впредь делай так. Джигиты у нас считали и до сих пор считают, милостивую победу над несчастной, жаждущей любви и понимания женщиной чуть не высшим достижением для своей чести. В наших степных условиях, что для мужчины игра, для женщины - судьба. Этому наши невежественные двуногие в шапках не понимают. Задача таких, как мы с тобой, заставить их понять.

Теперь о другом. Подумать только, ведь все, что было до революции, было построено на обмане. Религия обманывала, царь обманывал, чиновники обманывали, баи обманывали... А все из-за чего? Из-за того, чтобы нахапать, прибрать, нажить, разбогатеть. А много ли человеку для жизни нужно? Вот нам с тобой? Совсем немного! Стоит это понять, как человек перестанет врать и обманывать. Но жизнь показала, пока силой не взнуздаешь привыкших хапать, пока их не подчинишь воле тех, кто ненавидит это хапание, а если не подчиниться, пока не уничижишь, ничего хорошего нельзя ожидать. Это первыми поняли большевики. И они начали жестокую борьбу за право бедных быть честными, быть равными и быть достойными. Это называется классовой борьбой.

Когда мне в Омске Балберген стал разъяснять все это, я удивился почему сам, своим умом не мог дойти до этого... Я понял, что самое главное - честность, честность к самому себе, к друзьям, к людям. Честность и бескорыстие. И вот, когда ты, Каныш рассказываешь то, что у тебя на душе, мне это нравится. Мы должны быть честными и откровенными. Именно этому учит революция.

Из твоего рассказа я понял, что ты доволен тем, что освободил Анипу. Я тоже доволен. Но нужно ли было вести дело таким образом, чтобы как говорят русские, и волки были сыты, и овцы целы. Не лучше ли было решить враз, без этих приторных, слезливых, размягчающих душу разговоров? Про этого аксакала Борамбая слышал. Есть сведения, что с удовлетворением встретил Колчака, хотя старался хитрить, быть одновременно и нашим и ихним. Теперь у него нет другого выхода, как приветствовать и хвалить нашу власть. Ты же, получаешь, помог этому старому сластолюбцу выглядеть перед девочкой, которую он растлевал, чуть ли не благодетелем. Между тем, интересы бая и бедняка, в данном случае Борамбая и Анипы, непримиримы. Ты же своим деликатным решением как будто и примирил эти интересы. Большевики таких людей называют соглашателями и терпеть их не могут.

- Но, Уаха, ведь люди мстительны.. Я не хотел раздувать злобные инстинкты... хотел, чтобы меньше злились на Анипу, а то ведь могут убить, искалечить ... мало ли что...

- Ты полагаешь, что смягчил душу Борамбая? Плохо ты знаешь наших классовых врагов.

- Я уверен, что во всех людях сидит и хорошее, и плохое. Надо бороться за хорошее против плохого.

- Правильно, но это в том случае, когда речь идет о своих, о тех, кто тебе не враг. А Борамбай - явный враг, он отлынивает от продразверстки, прячет зерно, скот, он в сговоре с другими врагами. Пока мы это терпим, пока собираем улики, чтобы они, улики, были неопровержимы. Вскоре тебе же придется судить. Жалость к человеку, который тебя ненавидит, как представителя власти, на руку врагу и возможен такой случай, когда трудно будет пожалеть и самого Жалеющего. Честно говорю, пойми это Каныш!

- Уаха, не пойму... вы мне угрожаете, вы меня в чем-то подозреваете?... - начал было краснеть Каныш, но Уахит резко прервал его:

- Нет, Каныш, не сердись. Говорю от сердца. Тебе тяжело.

И мне не легче. Правда не достается даром. Вот ты отделил Анипу, так будь добр, выдели ей то, что положено.., а то воспользовался тем, что Анипа, эта, видать, чистейшая от природы девочка, в душе которой даже жизнь в байском доме не сумела заронить семена алчности, рада свободе и не просит своей доли, и все оставила Борамбаю... Смягчила тебе душу байбише Борамбая, ты и сына оставил на воспитание в логове волка, чтобы волчонком вырос. Ты на чьей стороне оказался?

- Уаха, не в этом дело. С ребенком Анипа не смогла бы учиться...

- Нет, смогла бы... Одиноким матерям, я знаю, сильно помогают, особенно, если мать учится. Теперь тянущийся к свету, к знаниям бедняк - пролетарий не допустит, чтобы товарищу было труднее, чем ему. В этом наша сила. Каныш, ты извини, меня, но ты этого не знаешь. Когда под Петропавловском сказали, что на нас наступает отряд белых офицеров с генералом во главе, наш командир сказал: «Не бойтесь». Мы не так обучены, мы не так обмундированы, как они, но у нас души чистые, мы держимся друг за друга и за мировую революцию бесхитростно, всем сердцем, а офицер есть офицер, он ненавидит нас, но он в то же время никого, кроме себя не любит. Такие даже с генералом во главе нас не победят». Это было правдой. Я потом не раз убеждался в этом. Люди, воспи-

танные на стремлении нажиться, на алчности и алчные в душе, не могут по-настоящему честно относиться друг и другу. Я, дорогой Каныш, всеми фибрами души ненавижу богатеев, не верю им, отношусь к ним с подозрением. Это называют большевистски классовым чутьем. В тебе пока этого чутья нет. Его надо выработать. Ты одинаково боишься обидеть и тех и других. Но если бы тебя с самого раннего детства властьюмущие обижали, как меня, ты бы этого не делал. Ты, Каныш, честный парень, но надо, чтобы честность эта была пролетарской. Ты ученей, начитанней меня, но я больше тебя пережил, больше видел. Слушал я тебя не раз, хорошо говоришь, все науки знаешь, умеешь рассказывать просто, убежденно. Это очень хорошо. Но члену ревкома надо быть бойцом и бойцом непримиримым. Надо сбросить интеллигентскую ученую мягкотелость, не надо искать примирений, не надо гнойники прикрывать, а надо их срывать, срезать и выбрасывать. Мы должны нашу землю оставить потомкам, очищенной от грязных и алчных людей.

Уахит замолчал. Казалось, выговорился, высказал до дна все, что хотел сказать. Каныш тоже молчал. Слишком многое сказано было, чтобы отвечать сразу. Уже открылась накренившаяся в сторону Сабындыколь неровная, корявая серая гладь баян-аульских тесовых крыш. Прервал молчание Уахит.

- Каныш, знаешь что, ты у меня дома не бывал. Давай попьем чай у меня и на работу! Аллах свидетель, женгей твоя будет рада. Я же тебе сказал, что она у меня старорежимная - не могу уговорить, чтобы кимешек сняла, не могу заставить учиться. Слушать не хочет. Твердит одно - буду детей рожать и за тобой: ухаживать... Можешь и поехидничать: проповедует, мол, женскую свободу, а женгей нашу чуть не взаперти держит... Вообще, поехали, тебя, несчастного холостяка при жизни келин, никто не ждет с самоваром.

- Уаха, с удовольствием бы, да вы же устали. Вам надо чуть отдохнуть. Разрешите побывать у вас в более удобное время, - говорил Каныш, благодарно улыбаясь.

Уахит не стал настаивать и они разбегались, так как жили на разных окраинах села. Не стал настаивать может быть, потому что его маленькие, пронизательные глаза заметили, как неожиданное приглашение на чай прервало думы, в которые успел погрузиться молодой коллега, и как от этого улыбка у него получилась вымученной, а отговорка - не очень удачной. Уахит не обиделся. Он знал, что задел парня за живое. Полез бы иной в ссору, в драку, но не Каныш, он был умен и выдер-

жан. Такого парня отвлекать от дум не следовало.

А думать Канышу было о чем. Слушал он Уахита и чувствовал, что тот говорит такие вещи, которые, казалось, легко опротестовать, опровергнуть и доказать, что это вовсе не так. Он несколько раз порывался это сделать, но каждый раз, вознамерившись, умолкал. И умолкал не потому, что он умел спорить, наоборот, Каныш был спорщиком остроумным, он легко находил нужные слова, обладал искусством оснащать свою речь яркими, броскими примерами, уместно пересыпать поговорками и пословицами, как это делал его отец, когда хотел подавить противника красноречием. Умолкал же он оттого, что нападала на него какая-то непонятная робость. Он помнил, как робел при обращении к гостям и друзьям отца - степным златоустам, наторевшим на бесконечных разборательствах степных тяжб; став старше, он робел при общении с людьми, об учености, уме и имени которых был наслышан. Но что казалось бы, робеть перед Уахитом? Перед человеком, который не относился ни к тем и ни к другим, перед человеком, который разве лишь издали мог видеть ту среду, где вырос Каныш и где ничто так не ценилось, как остроумие, как умение выдвигать неожиданные, эффективные, ошеломляющие противника доводы; перед человеком, который не прочитал и десятой доли того, что прочитал Каныш?

И Каныш вдруг понял, что он не столько робел, сколько был поражен тем, как честно и как просто говорил Уахит. Он понял, что эта простота и эта честность шли от непоколебимой убежденности, которой дышало каждое слово Уахита. И Каныш вынужден был признать, что он умолкал не от того, что не находил слов и аргументов, для ответа, а скорее оттого, что не был уверен в собственной убежденности, чтобы говорить с той же простотой и ясностью. От его слов было больно, но они, по-видимому, не звучали оскорбительно, ибо можно выдержать боль, но не оскорбления. И еще он чувствовал, что как было бы нечестно и низко возражать Уахиту, используя приемы степных острословов, для которых не столь важно было добиться истины, сколько сбить противника с логики его суждений и вызвать замешательство.

Да и приведешь ли такого, как Уахит к замешательству словесным ухищрениями? Ведь к нему эта убежденность пришла не через заповеди Корана, не через родительские наставления, не через книжную мудрость, а через самую жизнь, которая всей тяжестью, всеми невзгодами навалилась на него с самых пеленок и сказала: выживи, если сможешь! И Уахит

выжил. И при этом не превратился в угрюмого человека-ненавистника и бессердечного злодея, полного мести за безрадостное детство и обездоленную юность, и не в приспособленца, готового продать энергию и сметку за мещанское благополучие, а стал, благодаря революции, сознательным борцом с четкой целью и, душой, устремленной к красоте и радостям бытия.

Вдумывался Каныш в судьбу коллеги и впервые в жизни почувствовал острую, шемящую зависть к этому суповому начальнику милиции, которого сама жизнь привела к пути, не имеющему зигзагов, не обремененному сомнениями и неуверенностью.

Ведь еще вчера, каких-то два-три года назад, Каныш не мог даже полагать, что наступит такое время, когда люди типа Уахита будут устойчиво играть ведущую роль в устройении жизни; Он много читал, много думал, прислушивался к суждениям сведущих, на его взгляд, людей и пришел тогда к убеждению, что существующий порядок вещей нельзя считать справедливым, и что поэтому он был и будет постоянным источником гражданских столкновений и потрясений. И когда революция подняла тысячи и миллионы уахитов на ломку устоявшегося и несправедливого, он, Каныш, внутренне готовясь к романтическим неожиданностям, восклицал про себя: «Пусть сильнее грянет буря!» Он полагал, что разрушители никогда не смогут стать одновременно и устройщиками того нового, во имя которого ведется разрушение.

Крепко, очень крепко сидела в нем наследственная вера в значение крови и породы, в извечную предначертанность того, что одни рождаются, чтобы править и повелевать, а другие - подчиняться и исполнять. Это внушал ему еще с детства отец, память которого хранила имена бесчисленного количества предков и современников, генеалогические древа которых будто бы снабдили их способностью быть на виду своими деяниями. Это внушали ему в семинарии, где на уроках истории маленький человек, блестя пенсне, трясся остренькой бородкой и брызгая слюнями, бегал по классу и доказывал, вдохновенно сыпая историческими примерами, что так называемые революции есть ничто иное, как бунт черни, природную страсть которой к разрушению, может быть не всегда стоит одерживать, ибо революции имеют очищающее значение, позволяя восстанавливать разрушенное и создавать новое на более прогрессивном уровне. «Но кто потом восстанавливает и создает?» - визгливо вопрошал он, останавливаясь и вонзая указа-

тельным пальцем потолок, - Да все те же, кому суждено это свыше - умственная, интеллектуальная элита народа!»

Вспомнил Каныш, как возликовал, он, когда полгода тому назад пригласил его в уездный ревком большевик Поздняк и сказал, что революции нужны грамотные, честные люди для установления порядка и законности и что он, Каныш Сатпаев, бывший семинарист, является подходящим кандидатом для занятия должности судьи десятого участка в Баян-ауле. Возликовал он потому, что сбывалось предчувствие, с которым он ехал, думая о том, что вызвал его этот крупный большевик не случайно, что буря, по-видимому, идет на убыль, и что приходит пора, когда за дело должны приняться восстановители и созидатели. Ведь вот как начинали во времена всех революций и гражданских потрясений свой звездный путь мальчишки, но образованные и умные провинциальные учителя, врачи и адвокаты. Не напрасно, с особым усердием молился старый Имантай, снаряжая и в далекую дорогу до Кереку-Павлодара младшего сына, с которым он связывал (и Каныш знал об этом) большие родовые честолюбивые надежды, будучи внутренне недоволен тем, что такой способный и образованный юноша вынужден оставаться от нечего делать учителем в своей аульной школе, когда в прежние времена он мог бы претендовать на большие чины и влияние.

Тогда, сидя в прокурорском маленьком кабинете Поздняка, долго не мог сосредоточиться и вникнуть в суть речи хозяина и, как ни странно, не от растерянности, что впервые разговаривал с большевиком, причем с крупным, занимающим высокий пост в уезде, а более оттого, что силился скрыть от умных, проницательных серых глаз его радостное возбуждение, которое им, Канышем, владело. А этот большевик, между тем, неторопливо, четко и твердо выговаривая каждое слово, разъяснял Канышу, что царский режим имел громадный и путанный свод законов. Советская власть не может пользоваться этим сводом, потому что он был создан для защиты интересов богатых, да и сама путанность законов соответствовала их несправедливому назначению. Советы будут иметь свои законы, справедливые, недвусмысленные, точные. Они будут защищать интересы бедных и способствовать тому, чтобы в будущем люди не делились на богатых и бедных. Пока же в решении судебных дел придется руководствоваться декретами советской власти и революционным правосознанием. Это будет не легкое дело. К тому же, добавил Поздняк, ревкому известно, что он, Сатпаев, сын довольно богатого и именитого в про-

шлом отца, однако это ничего не значит, если работать честно и добросовестно для революции, как это делают теперь многие выходцы из состоятельных семей. При царе образованный человек, как бы он ни старался, не мог работать на благо народу, на благо бедным, он так или иначе прислуживал богатым. Теперь только настала пора и создаются условия, когда честный человек может всецело служить народу. Дело ваше не легкое, но благородное.

Каныш благодарил за доверие, а сам в душе был уверен, что с делом справится, да так справится, что он же, Поздняк, и все другие увидят, что это не предел для его возможностей. С такими мыслями включился Каныш тогда в работу.

Скоро, очень скоро Канышу пришлось убедиться, что бедняки, взявшие власть в свои руки, это вовсе не та чернь, о которой говорил учитель истории, что вообще черни, как таковой, может быть, не существовало и не существует, а есть обычные люди, как ты, да я, как целый свет, но только многие из них были низведены условиями бытования до такого уровня, когда их легко было именовать чернью, чтобы этим оправдать безнравственное господство над ними. Он ясно видел, что теперь при советской власти эта «чернь» не собиралась отдавать в чьи-либо другие руки ни чести, ни дела восстановления и созидания.

Каныш работал старательно и самозабвенно, все более чувствуя, что действительно служит делу народа. Но где-то рядом летали пощипывая самолюбие, честолюбивые мечты и он, вглядываясь в работу ревкома, думал не только о деле, но и о своем месте в нем. И, вдумываясь, все более убеждался, что неудочки: с натруженными руками и обветренными лицами, пришедшие от табунов и отар, от плуга и сенокосилки, от станка и паровоза, чтобы непосредственно руководить делом революции в степях, неудочки, сумевшие прогнать выученные по всем правилам военного искусства и до зубов вооруженные силы - Колчака, знали, что делали, и их жизненный опыт, уверенная целеустремленность стоили того семинарского образования, которым кичился Каныш, ожидая часа, когда представится тот счастливый случай, который поможет показать, что он, Каныш, сможет стать лидером и хозяином положения. Случай не представлялся, остывала постепенно та глупая, самонадеянность, с которой он ехал в Баян-аул.

Теперь, после этого разговора с Уахитом, он думал о том, что такой случай и не должен представиться. Он вспомнил, как после февральской революции, когда Семипалатинская

семинария имени его высочества царевича Алексея Николаевича стала называться просто Семипалатинской семинарией, а директор, который был его превосходительством и действительным статским советником, стал просто гражданином директором, а в остальном все шло по-прежнему, двоюродный брат Абиkey, учитель семинарии, сообщил, как важную новость, что в Семипалатинск приехал сам Букейханов, великий человек, окончивший Петербургский университет, депутат Б. Думы, не раз бесстрашно выступавший против самого царя и чуть ли не участвовавший в его свержении. Брат находился в восторженном состоянии, бегал на какие-то встречи, выполнял какие-то поручения, говорил, что мы казахи, наконец, обретаем достоинство. И все это он связывал с именем важного гостя. В один из таких дней Абиkey объявил, что семипалатинский цвет казахов решил дать угощение по случаю приезда знаменитого ведущего и что Канышу надо пойти в дом Тыныбая, где это угощение состоится, для выполнения поручений организаторов.

Во дворе большого дома Тыныбая, известного скотопромышленника, стояла большая двенадцатистворчатая белая юрта и в этой юрте, растеленной разноцветными коврами, узорчатыми текеметами, были расставлены лизенькие круглые столы, а вокруг столов раскиданы большие, туго набитые пуховые подушки. Мясо жеребенка и нескольких баранов варилось рядом. Шипели в казанах баурсаки. Привезли в больших сабакумыс, и много всяких степных яств, в количествах невиданных. Каныш вместе с несколькими знакомыми парнями бегал, как ошалелый, выполняя приказания распорядителей. Он был счастлив, что будет присутствовать при встрече со столь большим человеком.

Приглашенные собирались во дворе, в юрту не заходили, ожидая главного гостя. Это были люди, которых стоустная молва, разносившаяся по степям, говорила, как о тех, кто овладел русской грамотой не хуже самих русских и обладает секретами бумаг, которые пишутся на больших столах городских начальственных домов и имеют силу покрепче и поосновательней иных повелений ханов.

Пришел, переваливаясь, как гусь, Ержакип, учитель-математик по профессии и стихотворец по призванию, уже прославившийся звучными стихами, хотя по его валкой походке, широкой, воловьей фигуре, по мясистому, черному лицу, где глаза сверкали лишь белками, никто не смог бы подозревать в нем поэта. Насколько Ержакип был медлителен в движениях, на-

столько же был быстр, и сноровист на язык. Придя, он сходу забалагурил с младшей женой Тыныбая, татаркой, распоразавшейся по кухонной части, забалагурил, складно пересылая казахские слова татарскими.

Пришел Еркебулан, высокий, красивый, с точенными линиями лица и большими карими глазами, холодный блеск которых был, как говорили, неотразим для балованных байских дочерей. Каныш слышал, что его сравнивали с русским поэтом Блоком. Поговаривали о соперничестве между гордым, непримиримым и талантливым Еркебуланом и хитрым, постоянно бывшим себе на уме Ержакипом.

Пришел адвокат Бекбаев Накип, сын чингистауского бая, окончивший юридический факультет Петербургского университета. Он был единственным на все степи Семипалатинской области, кто получил под боком у белого царя высшее образование после главного гостя. Поэтому Накип считал, что имеет право на оригинальность: он не хотел быть похожим на всех этих недоучек, выходцев из жалких медресе и семинарий, не прослушавших в своей жизни хотя бы одну лекцию нормального столичного профессора. Весь вид его говорил о том, что он все перевидел, все перечитал и, наконец, понял, что истинный патриот степей - это тот, кто любит все степное, держится всего степного и, главное, одевается во все степное. Оттого он брил голову наголо, отпустил реденькую бородку, носил просторные шаровары и чапан, сапоги на высоких каблуках с серебряными нашивками, называемые шонкайма, окладастую беличью шапку - борик. Среди окружавших его «недоучек» в узких брюках, модных пиджаках, сорочках при галстукe с бабочкой, он один выглядел степным баем, который не хочет стеснять свое полнеющее тело в угоду русской моде. Между тем, было время, когда он, приезжая из Петербурга на каникул, любил щеголять во фраке с фалдами, в белоснежной сорочке, а выучившись русскому языку, пренебрегал своим родным настолько, что теперь не мог разговаривать без русских слов даже с теми, кто не знал ни слова по-русски. Это служило постоянным предметом насмешек со стороны - недоучек. Кто-то пустил даже злой стишок:

Хотел бы стать он русским -

Да подводит лик.

Рядится в казаха -;

Выдает язык.

Свидетель сам Аллах,

Он - не русский, но и не казах!

Пришел Махмет Бектурганов, солидный, спокойный человек - средних лет. Мало кто знал, где он учился, что он кончил, но все признавали феноменальную ученость его. Считали, что он первым принялся за создание грамматики родного языка, а через газету «Сары-Арка», которая начала издаваться после свержения царя и редактором которой он являлся, проповедовал и разъяснял термины, вводимые им для научного осмысления строя родной речи. Поговаривали, что он уже подготовил учебник для издания. Среди собравшихся молодых людей, редко кому из которых было старше тридцати лет. Махмет выглядел аксакалом.

Пришел высокий, худой, юношески бледный Султан-Махмут, отпрыск известного Канышу по рассказам отца айдабульского бия Шона. Он стеснительно держался в стороне, хотя, как поэт был известней и Ержакипа и Еркебулана.

Двор Тыныбая постепенно заполнялся сливками степей преобладали поэты, учителя, адвокаты. Были и лекари-фельдшера, был даже один техник-железнодорожник. Каждый пришедший сюда знал себе цену и полагал, что именно он имеет основание говорить, коли не от имени всего народа, то, по крайней мере, от имени своего жуза. Это были люди, острые на язык и наделенные чувством смешного настолько, что даже приветствие свое успевали оснащать какой-либо тонко подсунутой шпилькой. Во дворе стоял хохот и веселый гул. Каныш очень злился, что, бегая по двору не может хоть обрывками послушать собравшихся острословов.

...Он оказался самым обычным человеком небольшого роста, лет пятидесяти, может быть, с небольшим, с зачесанными назад густыми смолисто-черными, еще не тронутыми сединой волосами. На ничем непримечательном лице с невысоким лбом под широким степным носом топорщились, точно приклеенные усы и не было на этом пастушеском облике той вдохновенной озаренности какую ожидал Каныш от человека, даже имя которого брат Абиkey произносил с придыханием.

Когда главного гостя провели и усадили на самое почетное место, когда все чинно расселись, пустив поудобней под расставленные впритык друг к другу столы, круг из которых почти замыкался у дверей юрты, а в середине, в самом центре, вокруг большого круглого стола расположились кумысочерпий и его помощники с целой горкой разноцветных пиялок, с кумысом в громадной степной деревянной чаше, когда заходили по кругу пиялы с кумысом, раздавался раскатистый, чистый, располагающий баритон распорядителя. Это был томский

студент Баубеков Амирхан, который, как рассказывали, прервал учебу по настоянию ведущего, ибо не находил среди тех, кого знал, более способного, более дельного и расторопного помощника. Рассказывали об удивительной начитанности и ораторских способностях Амирхана, о его уме и обаянии и никак не считали случайным, что выбор ведущего пал именно на него. Амирхан поднялся и на его молодом, пышущем здоровьем, уверенностью, жизнерадостно подвижном лице засверкали стекла очков с золотой оправой, отражая в такт его речи косые лучи солнца, падавшие с тундука. Все обратились к нему.

- Друзья! Сородичи! Последователи Пророка! Граждане Алаша! - сказал он, четко, проникновенно, с душевной привагательностью произнося каждое слово. - Мы сюда, в эту просторную юрту, завещанную нам предками, собрались по исключительно знаменательному случаю, по случаю, который будет записан в истории нашего народа золотыми буквами. Наши чувства, связанные с важностью этого события, наша сердечная преданность идеалами, сомкнувшим наши помыслы в едином порыве, не являются нашей прихотью. Это результат того трагического пути, который, по воле Аллаха, прошел наш многострадальный народ. - И Амирхан, вдохновенно, играя голосом, интонацией, ритмом слов и фраз, заговорил о подспудной, скрытой силе народа, который, будучи рассеян на громадном пространстве между Алтаем и Кавказом, между Ала-Тау и Уралом, сумел, не раз идя на риск за само существование свое сохранить за собой это пространство, эту нашу исконную, богатую и просторную степь; сохранил для того, чтобы мы, теперешние его потомки, подняв великое знамя Алаш, создали свою государственность и не только сохранили, но и развили ту исконно-тюркскую, мусульманскую самобытность, которая составляет нашу гордость и нашу суть.

- Но, друзья, сородичи, граждане Алаша, - сказал далее Амирхан, и голос его зазвенел, завибрировал, выражая крайнюю степень воодушевления, - наш народ в поворотные моменты своей истории шел за избранными, в руки которых, вручал он свою судьбу и свое будущее. И этих избранных возглавлял самый мудрый, самый ясновидящий, самый закаленный в борьбе за интересы братьев своих сын народа. Сегодня мы за этим дастарханом хотим выразить радость, переполняющую наши сердца, в связи с тем, что вся степь в лице ее лучших представителей признает таким ведущим нашего дорогого земляка, нашего уважаемого Алеке. В этом проявилась выс-

шая мудрость избранных. Ибо кто сравнится с Алеке по знаниям? Он был добрым мусульманином, преуспевшим в познания заветов Пророка, когда поехал в Петербург, чтобы там, в столице, получить высшее образование, чтобы таким образом постичь непосильные для заурядных людей глубины мудрости. Такое постижение возможно лишь при особо гармоническом сочетании божественного с земным, возможно у редчайших, отмеченных всевышней печатью людей. Оттого наш Алеке знает лучше, чем кто-либо жизнь нашей степи, ее экономику и ее историю. Свидетельство тому книга «Киргизский край», где Алеке является ведущим автором. А кто сравнится с Алеке, как политический деятель? Будучи депутатом государственной Думы, активным членом кадетской партии он был в ряду тех, кто ныне управляет русским государством, он был в ряду активных противников царского режима и, по-существу, был среди тех, кто сверг царя. Ни один наш сородич не поднимался до такого уровня, чтобы быть на равных с первыми лицами России. Это удалось только нашему Алеке. И вот теперь наш Алеке принимает на себя то, что предназначено ему свыше - он возглавил святое дело возрождения нашего народа под знаменем Алаш.

- Граждане, Алаш, мы все дети одного предка - снизил свой голос Амирхан и в богатом тембре его зазвучали нотки чуть ли не семейной доверительности, наши сердца сегодня переполнены радостью в связи с тем, что Алеке выкроил часть своего драгоценного времени, чтобы посидеть с нами за этим общим дастарханом. Мы собрались сегодня, каждый из нас знает это, не для того, чтобы обсуждать великие деловые вопросы, которыми занят мощный ум нашего дорогого гостя и для решения которых использует этот ум силы и возможности каждого из сидящих здесь и многих других. Мы просто пришли, для того, чтобы по нашему старому святому обычаю, завещанному предками, от души, как говорится, из раскрытых ладоней попотчевать нашего дорогого Алеке всем тем, чем богата его родная и любимая степь. Мы исключили из нашего дастархана все не степное, все пришлое, нашей самобытности, неприсуще. Поэтому, я думаю, мы не станем утомлять нашего Алеке речами и будем делать все в пределах того, чтобы дорогому гостю было приятно и легко посидеть с нами. Перед вами, друзья, напиток, вобравший в себя все животворные соки, все пряности и весь аромат наших степей, напиток, который насыщает нас, когда мы голодны, утомляет жажду нашу, когда мы сыты, подкрепляет наши силы, когда нам нужно трудить-

ся и бороться, напиток, который придает нам настроение, когда мы хотим беззаботного веселья. Он, этот напиток, насыщен не вызывает жажду, веселье, не дурманит. Редкие народы могут похвалиться напитком столь многократного достоинства. Поблагодарим наших предков и воздадим им хвалу за дарованный ими нам потомкам, божественный напиток и попросим самого достойного из этих потомков нашего дорогого Алеке поднять пиялу и мы все последуем за ним!

Все сидели, покачивая пиялами, как это принято при распитии кумыса, сначала покачивали в такт речи Амирхана, потом сами не заметили, как перестали покачивать, замороженные удивительным потоком слов, который лился, струясь и сверкая, из поистине волшебных уст его. Казалось, именно в этого выходца из рода Каракесек переселился аруах предка его любящего голосого Казбека. Когда Амирхан пригласил поднять пиялы, кумыс в них успел было застыться, но на это никто не обратил внимания, все последовали за Алеке, который с наслаждением опрокинул пиялу, видимо, довольный речью молодого друга. Каныш видел, что многим хотелось выразить свой восторг привычными степными возгласами или хлопаньем в ладоши по-русски, но каждый глушил в себе подобные порывы, ибо хуже всего было бы выглядеть развязным, сидя за одним дастарханом с поистине недосягаемой личностью.

В это время подали в вырезанных из дуба, длинных астау - главное блюдо - жеребятину, части которой искусно перемешались с бараниной. Самое большое блюдо, где лежал висок жеребенка с нежной, рельефной горкой мозга, поставили перед Алеке. Остальные астау с лоснящимися бараными головами расставили в соответствии с тем, где сидит главный представитель того или иного рода, претендующий на почет и уважение. Молодые люди с острыми ножами вклинивались в ряды сидящих и быстро измельчили куски мяса. Кумыс, по-видимому, сильно возбудил аппетит. Потомки неутомимых наездников, изнеженные в постижении книжной мудрости, набирали полные ладони и отправляли в рот груды мяса с наименьшей ловкостью, чем их предки на привале после тяжелого перехода. Насыщались с таким усердием, будто не было здесь знатного гостя, будто никто только что не был очарован речью Амирхана.

Насытившись, чуть отодвинулись от дастархана, вожаденно поглядывая на лежащие рядом тугие подушки. Было бы хорошо теперь лениво и сладко облокотиться на них, но приходилось мучительно выжидать, ибо главный гость сидел, как

гвоздь, будто не чувствуя, как удобно после кумыса и мяса беседовать полулежа. Когда пиялы с кумысом снова пошли по кругу, Алеке сел еще прямее, вытянул шею, оглядывая сидящих, затем, чуть кашлянув и дрожа усами, заговорил, поразив Каныша обыденностью глуховатого голоса и произносимых слов.

- Спасибо, сородичи, сказал он просто, тихо, почти по-семейному, непринужденно.

- Спасибо, друзья, спасибо, братья. Здесь Амирхан уже сказал, что за этим сердечным дастарханом не будем говорить о делах, хотя величие этих дел и воодушевляет нас. Мы должны организовать сильное самобытное государство Алаш-Орда со своей крепкой правительственной системой, со своей армией. Вы знаете, что начало этому положено. Каждый из сидящих здесь будет играть в этом государстве выдающуюся роль. Но не будем нарушать порядок. Не будем говорить о деле. Я старше всех вас и, естественно, пережил и увидел больше вашего. И хотел бы рассказать о людях и событиях, о которых вы слышали, читали, но этих людей вы не видели, в этих событиях вы не участвовали, мне же, по воле Аллаха, удалось и то, и другое. Долго жил я в Петербурге, земляки упрекали, что будто я обрусел. Но я жил в тоске по родным степям, и когда тоска становилась невыносимой, я бросал все дела, вырывался из теснящих душу каменных громад в наши широкие бескрайние просторы, где ничто не заслоняет солнце, где ничто не преграждает путь вольному ветру, где пряные, первозданные запахи трав не испорчены примесью гнилостных, дурных испарений. И все же, нехотя, возвращался в Петербург и оставался там, оставался потому, что это нужно было для нашего народа. Это было нужно для великого дела, которое мы теперь начали.

Алеке снова вытянул шею и оглядел всех, будто желая выразить удовлетворение тем, как все, затаив дыхание, уставились в его сторону, как бы боясь пропустить хотя бы слово. Затем, покачивая пиялу и дав знак сидящим справа и слева последовать его примеру, отпил глоток. Все сделали тоже. Кашлянув в кулак стал рассказывать о царе, о его отречении, о Распутине, о Февральской революции, о Керенском, о Милюкове и многих других. Рассказывал об этих событиях и людях, не только не выпячивая, но даже редко упоминая себя, но с такими подробностями, что слушающий не мог чувствовать, что знание этих подробностей возможно лишь при активном участии рассказывающего в событиях, при его доверительных, близких

отношениях с людьми, которые двигали эти события.

Говорил он с добродушным юмором, не избегая степных соленых слов. Казался грубоватым аульным аксакалом, лукаво прячущим за внешней простоватостью и разговорчивостью бездну мудрости, скаречно и скупно отделяя ее лишь избранных.

Когда на дастархане рассыпали баурсаки, иримшик, курт и другие вкусные домашние изделия, расставили тарелки с маслом, вареными сливками, вареньем из диких ягод, а в середине юрты на большом столе место чаши с кумысом, занял громадный благодушно гудящий желтый самовар и вместо пиял с кумысом заходили по кругу пиялы с чаем, гость продолжал говорить и, казалось, его спокойный, ровный голос приобрел еще большую задушевность и притягательность.

- Видел не раз Распутина, сообщил он, как бы между прочим, пряча в дрожащих усах легкую, озорную улыбку, кстати сказать, в этом русском мужике, в узковатых карих глазах его, во всем облике, выдававшем хитрость и ум, заложенные в крови, было много, очень много нашего, восточного, тюрского. Недаром перед ним слабели и млели, теряя волю и становясь податливыми самые выдающиеся женщины Петербурга, и прежде всего, сама царица. Каждый раз, встречаясь с ним, я вспоминала нашего хана Аблая с его сорока женами, и то как он, зайдя на ужин в первую юрту, пил утренний чай в десятой или одиннадцатой. С удивлением и прямо скажу, с гордостью узнавал, что в каждом из сильнейших личностей, имевших влияние на государственные, а то и мировые дела, с которыми мне приходилось видеться и разговаривать, носили прямую печать умыкания славянских красавиц нашими предками - степными наездниками. Посмотрите на портрет Керенского, этого несомненно великого человека, этого русского Наполеона, в нем вы найдете много родственных нам черт.

- Не случайно, сказал он, чуть громче обычного, по-видимому, подчеркивая значимость излагаемой мысли, великий немецкий философ Гегель говорил, что история повторяется дважды. Богатый Запад погряз в войне, в междуусобии, в межпартийных распрях, там гниют на корню от избытка земных благ. Этого не испытывают восточные народы. Они только что выходят из младенческого возраста, растут, набираются сил и ждут своего часа. Наступает пора исторического возвышения азиатского Запада во второй раз. Возвышения, может быть, более благородного, более устойчивого, более благодатного, чем кого-то. К этому мы должны готовиться, мы должны раз-

вивать свою автономию, как зародыш будущего величия. А для этого нам надо уметь вести народ за собой. Народ - дитя, с ним надо уметь обращаться и он пойдет за нами. Между прочим, впервые чуть насупив брови Алеке, есть на западе люди с черной душой, находящие особое наслаждение в братоубийственной драке, в кровавых распрях между людьми одного рода, одной нации, они прикидываются друзьями бедных, чтобы натравить их на своих же единокровных родичей. Будет плохо, если в данный, решающий, исторический момент, когда мы, наконец-то, берем в руки решение народной судьбы, дадим в сердцах место пошлой алчности и будем делиться по тому, сколько у кого коней. Слава Аллаху, наш народ еще не заражен червями этой богопротивной зависти, а тот, у кого много коней - лучшая, как вы знаете, опора государству, и завтра тот же бедняк на том же байском коне поскачет под знаменем Алаш.

Каныш находился в упоительном восторге от того, что сам своими ушами слушал этого недосягаемого человека, от того, что поведал этот удивительный уроженец тех же степей, где родился и он. Каныш, поведал просто с доброй усмешкой, без тени назидания и поучения, без которых не может обойтись ни один аксакал. Все были слух и внимание, иные беспокойно переглядывались, по-видимому, желая о чем-то спросить и что-то сказать, но никто этого не делал, ибо не было таких пауз, которые бы позволили прервать без нарушения этикета непринужденное течение речи главного гостя.

Вечер завершился сам же гость, сказав:

- По-моему, мы засиделись. Завтра по горло работы.

Спасибо, братья, за внимание. Разрешите благословить вас по нашему старинному обычаю. Ауминь!

Он свел ладони на лице и поднялся.

...Восторги не прошли даром. Каныш в тот вечер сильно распарился, от возбуждения не обратил на это внимания, простудился и слег. Поднялась температура, сухой кашель разрывал горло, вместо мокроты шла кровь. Положили в больницу. В редкие промежутки, когда Каныш приходил в себя, чувствовал себя несчастным оттого, что заболел в такое время, когда он мог участвовать в доблестных и благородных делах обновления родных степей под руководством Алеке. Его мучили путанные и тревожные видения, где являлся Алеке и с неизменно доброй, отеческой улыбкой давал поручения, которые Каныш с восторгом и радостью бросался выполнять, но каждый раз возникали какие-то неожиданные препятствия,

преодолеть их никак не хватало сил, и он в ужасе и сметении просыпался в холодном поту, чтобы через минуту вернуться в то же состояние.

Наконец, однажды он услышал:

- Киргизенок-то, смотри, выживает... А я думал капут ему, бедолаге...

Каныш лежал в большой комнате, в самом дальнем углу, рядом с десятком бородатых русских людей. Он понял, что попал, благодаря заботам брата Абиkey в переселенческую больницу, где теперь лечили в основном солдат. Приходил брат, прибегали друзья Мухтар, Жунусбек и другие, торопясь, рассказывали о митингах, собраниях, заседаниях, о столице, в которую будто бы теперь превратился маленький, приземистый, невзрачный мусульманский пригород Семипалатинска - Жанасемей, претенциозно переименованный в город Алаш. Приносили с собой газеты. Изредка поглядывая на них - долго читать не мог. Каныш путался в земствах, комиссариатах, русских, татарах их, казахских комитетах, которые возникали, что-то, кого-то объединяли, проводили какую-то линию и непонятно было, кто из них главный. Единственно понятной казалась газета «Сары-Арка» то ли потому, что духовным отцом ее был Алеке, то ли потому, что она издавалась на родном языке. Но и к ней он почему-то терял прежний интерес.

Он был слаб, не хотелось двигаться, его устраивала бы теперь тихая, задушевная беседа, когда можно было бы послушать и рассказать о чем-то затаенном, внутреннем, лежащем в глубине, что требует не только осмысления про себя, но и обсуждения с умным, сердечным собеседником. Партнера для такой беседы в палате не находил. Солдаты между болью, стонами и сном матерно ругали бывшего царя, затеявшего войну, Керенского, не перестающего воевать, с тоской говорили о женах, о стариках и детях, о пустующей без хозяина земле и гут же ржали, рассказывая друг другу прихотливые и скабрезные анекдоты. И не один из них не походил на того русско-патриота-воина, о котором читал Каныш в газетах и который, пылая ненавистью к немцам и ни о чем не думая, кроме мести, шел в смертельную атаку за отечество.

Ему стало легче, но болезнь, по-видимому, не собиралась окончательно покидать его. Однажды он вытянул было руку, чтобы стереть с окна мушиное пятно, и увидел, что перед ним маячит не прежнее мускулистое, верное орудие труда, которым он часто демонстрировал свою силу и ловкость, а тоненькая палочка - хворостинка, переломанная в середине и для

целости обтянутая дрябло свисающей кожей, маячит чуть ли не комарья ножка в осеннюю стынь, и он стал думать о том, что напрасно он хорохорился и пыжился, полагая, что может иметь какое-то значение в жизни, что он - песчинка в кумах-месках, невидимая и неслышимая в общем потоке, образующем дюны и барханы, что он, как говорит Абай, есть тлен, теперь даже плохо наполняющий мешок для тлена из собственной кожи. Думал, выпятив глаза в потолок, и не заметил, как подсел к его кровати небольшого роста человек и как добрые глаза его стали оглядывать то, что осталось от высокого, жизнерадостного, улыбчивого юноши, каким был Каныш всего лишь три недели тому назад, оглядывали мягко, стараясь по-давить на смуглом, выразительном лице подступавшую изнутри жалость. Он бы, пожалуй, продолжал сидеть, не кашлянув и не шелохнув, если бы большой не почувствовал его присутствия.

...А, Нургали-ага! Ассалаумагалайком! Заулыбался, зашевелился Каныш, собирая старческие морщины на щеках и под глазами, излучавшими радость.

- Уагалайкомассалаям, Канышжан! Не надо, не поднимайся, тебе пока не положено двигаться, - отвечал спокойно и тихо Нургали-ага, осторожно беря костлявые пальцы юноши в теплую горсть и видя, как приятно это больному. Нургали был от природы замкнутым и стеснительным человеком, он не был близок с семинаристом, о котором отзывались, как о сыне именитого человека. Он пришел потому, что настояла на этом его жена Назипа, которая считала этого парня очень талантливым юношей. Между тем, Каныш, может быть, сам не сознавал, что был рад не столько приходу Нургали, а сколько тому, что пришел муж Назипы-апай, отношение к которой ему трудно было бы определить одним словом. Он был уверен, что нет и не может быть на свете женщины смелей, красивей, чище и умней, чем Назипа-апай. Например есть ли на свете женщина-казашка, которая так говорила бы по-русски, и проявила бы такую смелость, чтобы добиться личной аудиенции у самого губернатора, убедить его и получить разрешение на проведение платных литературно-музыкально-вокальных вечеров на родном языке, чтобы впервые, может быть, в истории казахские песни и стихи звучали не в степи, а с настоящей, городской сцены? Если ли такая женщина-казашка, которая придумала бы такой благородный способ добывания денег для такой благородной цели, как помощи нуждающимся учащимся? Есть ли такая женщина-казашка, которая была бы столь

проста и естественна, как в русской, так и в казахской среде? Таковую женщину не знал Каныш, и, наверное, не знал никто другой. Ему нравилось в ней все, и русское платье, которое так шло в ее высокогрудой, статной, среднего роста фигуре и ее мягкий, певучий голос, и то, как она негромко, но заразительно смеялась, обнажая крупные, влажные, чудного блеска зубы, и то, как ходила она с по-девичьи непокрытой головой, выпустив длинные косы.

Репетиции шли вначале у нее дома, где, как заметил Каныш, у бездетных супругов жило несколько парней, обучающихся или готовившихся к обучению в разных школах города. Парни эти были ни родными, ни близкими и жили просто по той причине, что негде им было жить. Когда делающих участвовать в самодеятельности стало больше, перешли в здание клуба приказчиков, где затем проводились и вечера. Помнил Каныш, как она обратилась к нему:

- Каныш, чем ты свою апай порадуешь?

Каныш покраснел, застеснялся, ему уже казалось, что все играют на домбре и поют лучше, чем он.

- Немного играю на домбре, немного пою. Пробовал на скрипке.

Ну что ж, давай и мы попробуем.

С тех пор Каныш не пропускал ни одного занятия кружка, досиживал репетиции до конца, даже если в том не было необходимости. Иной раз старался пройти мимо дома, где жила Назипа-апай, в надежде хоть мельком увидеть ее. Ему достаточно было уловить ее взгляд, чтобы долго ходить в радости.

Однажды Каныш был страшно удивлен, прочитав в газете, что в помещении местного отделения географического общества состоится заседание, где выступит с сообщением о киргизском поэте Абае Кульжанова Назипа Сагитбаевна, жена учителя семинарии и действительный член императорского географического общества. Больше всего поразило юношу последнее.

Каныш, придя заранее, забился в дальний угол, и, оказалось, сделал правильно, ибо небольшое помещение набилось битком. Она рассказывала об Абае такое, о чем не ведал Каныш. Знакомый Канышу Абай представлялся старым философом - назидателем, написавшим в стихах мудрые мысли, и этот аксакал, будучи очень умным, постоянно поучал и назидал и этим очень помогал старому Имантаю, часто повторявшему крылатые слова поэта, подкрепляя ими свои наставления. А у Назипы-апай он получался неповторимым певцом красоты,

глубоких внутренних волнений и переживаний, певцом природы, певцом нежной любви, находящим особые слова и краски, чтобы трогать сердца людей. У русских таким был Пушкин и мудрым, и сердечным, объяввшим жизнь во всех ее проявлениях. Обо всем этом красиво, приводя казахские тексты, сама же их доходчиво переводя, одновременно сокрушаясь, говорила Назипа-апай. Ее волшебные уста раскрывали Канышу нового, ему неизвестного Абая.

Доклад свой она завершила под гром аплодисментов. Как-то

бородатые русские люди вышли на сцену, дарили цветы, целовали ей руку. Каныш сидел в углу потрясенный, съедаемый ревностью к людям, которые могут вот так легко и просто подходить к ней и даже целовать руку. Бочком выбираясь из помещения, услышал:

- Павел Семенович, каково? Чем не Софья Ковалевская?

Сколько талантов потеряно в степях, у юрт, среди лошадей?

Каныш зашепшил было, чтобы увидеть ее при выходе, но пока он выбирался, она успела уехать.

... Было и так. Парень активно участвовавший в кружке, балагур и весельчак, к которому Каныш относился с почтением, как к старшему, и с удовольствием принимал, его солоноватые шутки и острые слова, продолжая возникший фривольный разговор о женщинах, вдруг сказал:

- Эх, мне бы в объятия такую как Назипа!

- Что? Что ты сказал? - побледнел Каныш.

- А то, что слышал, озлобился тот, не заметив возмущение приятеля.

- Что ты сказал, подлец?

Друзья не успели опомниться, как Каныш оказался на парне и заработал кулаками, несмотря на то, что тот был старше, коренастей и крепче его. Еле растащили. Произошло это на перекрестке весенним вечером. Только начало темнеть и парни, шедшие с репетиции, собирались разойтись по домам. С тех пор парень этот для Каныша отсутствовал. При встречах делал вид, что не знал и не видел. Каныш, я не представлял, что ты такой бешенный, - говорил потом Жунусбек.

И вот теперь тихий и спокойный муж Назипы-апай сидел возле него. Он преподавал в семинарии казахский язык, преподавал ничем себя не выдавая, ни с кем особенно не сближаясь. В нем заметна та озабоченность семинарскими делами, каковой отличались другие учителя, и порою даже казалось,

что преподавание для него не главное дело и что голова его занята чем-то другим, более важным, о чем семинаристам не следует ведать.

Канышу даже думалось, что аллах поступил не так уж справедливо, дав в мужья удивительной Назипе-апай такого человека, который наверное не в силах понять, оценить ее и своим молчанием, должно быть наскучил ей.

Сидит, вынимает что-то из портфеля, кладет на тумбочку и как будто по принуждению говорит:

Каныш, это тебе твоя апай передала.

Каныш не знает, что отвечать, на глаза набегают слезы радости и благодарности и он, стесняясь, отворачивается. Ему теперь уже кажется, что было глупо и неумно думать о том, что он ничтожен и ничего не значит, когда сама Назипа-апай думает и заботится о нем, сама послала мужа, чтобы проведать. Если бы не заболел, он был бы рядом с Алеке, рядом с теми, кто окружает его, наподобие звездных личностей, некогда окружавших Чингисхана, Кромвеля, Наполеона. Тогда бы Назипа-апай не пеклась заочно о несчастном, лежащем на больничной койке, тогда бы бездонные глаза ее были восторженно обращены на юного сподвижника самого Алеке.

И все-таки надо этому Нуреке сказать что-то такое, чтобы она, Назипа-апай знала, хотя бы о том, как порывы его достойны ее внимания. Нуреке же сидит и молчит. Сколько будет молчать - неизвестно, хотя вести беседу положено было бы, как старшему ему. А Канышу хочется сказать, многое сказать, да сказать так, чтобы хотя бы часть его сокровенных мыслей дошла до Назипы-апай. И Каныш не выдерживает:

Нуреке, заболел я после того вечера. Как мудро, убедительно говорил тогда Алеке! Вместо того, чтобы быть: там, около него, помогать всеми силами, я лежу здесь... За что меня аллах наказывает...

- Каныш выздоравливай, думай... может быть поймешь, что аллах тебя спасает... говорит Нуреке, как будто между прочим, как будто даже не особенно осмысливая, что говорит.

- Нет он меня наказывает! Сколько мог горячо сказал Каныш, в такое время не быть у знамени Алаш - это же несчастье, Нурмуқан-ага!...

- Под знамя Алаш... А я вот не знаю, что такое «Алаш»? Даже стыдно... Может быть, ты знаешь, Каныш? Канышу показалось, что Нургали шутит, но, посмотрев, увидел, что тот сидел, как сидел - ни один мускул не дрогнул на лице.

- Нуреке, ну как же... такое родное слово... - Родное то род-

ное, но оно должно иметь точное значение. Этого Каныш не ожидал. Он опешил и стал думать. И вдруг обнаружил что он тоже не знает, что такое «Алаш». Но слово было для него таким близким, что никак не верилось, что оно ничего не означает.

- Как же, Нуреке, это же наш легендарный предок...

- Какой предок, чем он отличился, что завещал? Как же так, Нуреке, ведь этим словом живет теперь весь казахский народ... То - есть как живите? Как можно жить словом, значение которого не знаешь? Ты семинарию кончаешь - не знаешь, я в университете учился, хоть и не кончил - не знаю... А откуда неграмотный степной житель знает? Ты Абая много читал, вот он должен был бы знать, но он ни слова...

- Но ведь Алеке и все другие... Партия Алаш... Государство, автономия Алаш... Ержакип, Акжан воспевают... Султан-Махмуд даже гимн сочинил...

- Правильно, Алеке начитанней всех, видел больше всех, но ведь нам, каждому из нас, тоже надо как-то своей головой думать...

- Но ведь не глупые все... Тогда человек сорок-пятьдесят было... Сливки степей собрались... Все восторженно слушали... Все были воодушевлены...

Правильно,.. Но подумай сам, говорил человек, выступавший в думе, вращающийся среди выдающихся русских людей, автор книг; написанных по-русски, оратор, владеющий знаниями и словом, и мы... эти, как ты говоришь, сливки, хоть нас и пятьдесят... Из собравшихся «сливок» лишь один Накип окончил Петербургский университет, да с тех пор уверовал, что все знает и оттого остался более невежественным, чем иной неграмотный степной житель, да Амирхан, златоуст, бросивший институт, ради спасения народа, да я, неудавшийся студент Казанского университета, а остальные бывшие семинаристы, выпускники медресе и двухклассных училищ... Что они могут противопоставить кругозору Букейханова?.. Вот и молчали... Все были заморожены, зачарованы соловьиным красноречием Амирхана и раздумчивой, глубинной мудростью Алихана. Не приведи аллах что-то сказать не в тон, да и пожалуй, необходимости не было.

И все же... как же... такой большой человек... Впервые задуманно объединить весь наш народ в отдельное автономное государство... У кого сердце не задрожит... У Каныша был вид ребенка, у которого вырывают из рук любимую игрушку.

- Цель действительно великая... Какой казах останется бе-

зучастным... Но к великой цели пути и думы должны быть дельными, подлинными, а не иллюзорными, мифическими, основанными на сказках и притчах. Пока же получается, что неизвестно даже под чье знамя становимся или собираемся стать. Стоит подумать теперь, что означает свое отдельное государство, то, что алашцы пока скромно называют «автономия». Конечно же, народ желает быть достойным своей земли, своих предков, он хочет быть действительным хозяином земли, унаследованной от отцов. Но, подумай, Каныш, какими хозяевами мы собираемся стать? Ведь землю и ее богатства надо использовать на благо людей, использовать пар, как это делают государства и народы, овладевшие наукой и техникой... А мы ведем себя так, как будто, если на земле пасется скот, то лучшего и желать не надо.. А между тем по железной дороге на поездах ,по Иртышу на пароходах ездить нравится, хлеб, возвращенный не нами, едим, а с людьми, которые это все делают зная не хотим. Народ не любил царя, не любил и не любит его чиновников и всех тех, кто к нему относится свысока. Но в подавляющем большинстве русские такие же люди, как и мы... И большая часть их сохранила к нам дружбу и приязнь, несмотря на то, что их веками натравливали на нас. А лучшие русские люди, ты их произведения читаешь, Пушкин, Белинский, Толстой, Достоевский и др., ни один из них не проповедовал гордиться унижением других народов, в частности, и нас, казахов. И вот теперь мы говорим только о своем, отчуждаясь от людей, с которыми рядом живем, от людей, с которыми взаимно приросли интересами... - Каныш смотрел на Нуреке и удивился, что этот человек говорит о таких серьезных, волнующих вещах так тихо и спокойно, как будто вспоминает что-то былое, что-то не очень нужное и рассказывает об этом только для того, чтобы не сидеть молча. И при этом создает свое государство... государство ... государство людей, которое ничего не умеют делать, кроме, как пасти лошадей и овец, да и в этой профессии преуспели лишь немногие, ибо в наших степях принято считать, что пастухи - самые никчемные люди, несмотря на то, что все мы кормимся лишь их трудом... государство людей, которое не знают, что такое созидать, строить, возводить, дома, дворцы, долговечные машины и орудия... государство людей, богатство которых может исчезнуть в один джунт...

- Подумай, Каныш, сказал он, сделав небольшую паузу, но не меняя тона. Мне стало известно, что нашего брата - казаха с высшим образованием ныне не более двух десятков, среди

них всего один инженер, пять или шесть врачей, остальные юристы и учителя.

Ты читал назидания Абая? Так вот Абай приводит, что даже джунгарский правитель, который сам недалеко от нас ушел, поучал султана Аблая, будущего хана, что ему, Аблаю, трудно будет объединить своих сородичей, ибо сородичи эти питаются дарами скотоводства, а не земледелия. Правильно поучал. Земледелие требует плуга, бороны и других орудий, которые связаны с развитием науки и техники, земледелия невозможно без оседлой жизни, только при оседлой жизни мыслимы систематический труд и истинное созидание...

Нуреке, скажите прямо, вы не сочувствуете... вы против дела, возглавляемого Алеке? - спросил вдруг Каныш, не находя аргументов для возражений и в то же время не понимая к чему клонит Нуреке, так без жалостно разрушая все то, чем жил в последнее время юноша.

- Нет, Каныш, я не против, но и не за... Я старше тебя, я не могу принять слишком серьезные вещи на веру... Я обязан думать. Я знаю, что ты умный парень и решил рассказать тебе о своих думах. Суди сам. И уж разреши, договору.

- Спасибо, Нуреке, говорите...

- Вот алашцы создают будто армию... Смешно говорить о своей армии, не имея даже мастерских, где можно было бы выковать, хотя бы мечи... не имея понятия о том, как делаются винтовки, пулеметы, пушки... Каныш, нам надо учиться выходить в люди. Но сможем ли мы учиться, если будем враждовать с теми, у которых должны учиться и уже давно учимся... Я имею в виду русских, ведь больше не у кого учиться... А мы же еще по-настоящему не научились даже учиться. Вот в чем наша беда. Каныш, не обижайся, но приведу для примера тебя, чтоб было понятней, только учти, что я сам такой же, как ты, несколько не лучше, ведь ты очень способный парень, а вот учишься на трояк с небольшим, оставаясь в ряду русских ребят со слабыми способностями. А почему бы тебе не учиться на пять? Ведь ты это можешь! Жунусбек, не менее способный, чем ты, тоже еле вытягивает до трех с половиной. Вся беда в том, что у нас, у всех нет навыков к систематическому, методичному труду, а есть наследственная беззаботность, склонность все делать рывками, желание заниматься, работать поменьше. Вот, ты, например, приезжаешь, к себе в аул на каникулы, блаженствуешь, не имея абсолютно никаких обязанностей, болтаешься ночами, выслеживая девочек, спишь до обеда и тебе непременно -хочется растянуть эту животную

жизнь и тогда идет тобою же сочиненное и написанное письмо от киргиза Аккелинской волости Имантая его высокородию директору семинарии с нижайшей просьбой разрешить воспитаннику Габдул, Гани Сатпаеву еще побездельничать дней сорок, потому, что, видите ли, болеет мать... Было это, Каныш?

- Было..., вздохнул Каныш.

- Ты дома ничем не занимаешься, поэтому не имеешь навыков к обычным видам домашнего труда, оттого и подвергаешься в семинарии почти всегда дополнительным испытаниям по ручному труду... Верно?

- Верно... вздохнул Каныш, удивляясь осведомленности Нуреке о его учебе...

- Русские писатели когда-то писали с завистью о немецкой аккуратности, дотошности. Это русские завидовали немцам. А что говорить о нас, бездельничающих целыми аулами, поручив косяки воле природы и аллаха... Когда обо всем этом подумаешь, то -кажется, что пышные, велеречивые и нескромные тирады о любви к исконности, об укреплении самобытности - это призыв к сохранению отсталости и дикости... Петр Первый насильно бороды боярам отстригал не потому, что борода мешала чему-то, а потому, что она была символом отсталости, косности. А алашцы хватаются за все отсталое, за все, о чем напоминала боярская борода. Ничего путного с этого не получится, кроме, может быть, временного удовлетворения честолюбия отдельных лиц. Когда кто-то берется за большое дело и хочет свершить его, не считаясь с совершенно отсутствующими возможностями, надеясь на какое-то чудо, это по-русски называют авантюрой... Мы, Каныш, талантливый, способный народ, мы все можем делать, всем можем овладеть... Но надо искать верные, продуманные пути, чтобы этот талант, эти способности проявились на собственное благо и чтобы мы вышли из того уровня полудикости, в котором прозябаем. Пути эти должны быть конкретными, точными, основанными не на иллюзорных, а на осозаемых, видимых условиях и возможностях... Словом, как русские говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь...

Нуреке посмотрел на Каныша, как будто даже чуть улыбнулся, что, по-видимому, означало, что он сказал все, что хотел сказать.

- Ну, Каныш, утомил я тебя. Высказал то, что думал. Высказал только для тебя, потому что ты - думающий парень. Я это сам знаю, об этом говорила и Назипа. На лице снова появи-

лась полуулыбка.

Смотрю на тебя - от черного хлеба, да капусты тебе быстро не поправиться. В аул, на кумыс, на жеребятину, на вольный воздух надо ехать. Врач твой мне сказал, что у тебя легкие ослаблены. Надо их излечить... а великие дела впереди...

Он выздоравливал медленно, но все же выздоравливал. Тревоги, казалось, миновали. Ранее всех почувствовал это Имантай-аксакал. В тот ненастный осенний день, когда внесли в дом вместо долгожданного сына живые мощи с необычайно большими и пронизывающими острыми глазами, такими же глазами, какими когда-то лет пятнадцать назад смотрела, сверля и прожигая душу, его молодая, мучительно и долго прощавшаяся с жизнью мать, ему старому и грешному, пережившему на своем веку немало смертей, подумалось, что мальчик притаился в родное гнездо умирать и что аллах, видать, сподобил пережить и эту смерть. Но сын выздоравливал, чтобы еще раз внушить ему, суетному и ропщущему, как всемогущ создатель и как милостям его нет предела.

Каныш выходил во двор и медленно прохаживался, дуя во всю щеку в морозный воздух и по-мальчишески следя за тем, как перед самым носом образуется и тут же тает белое облачко. Одет он был в волчью шубу, туго подпоясанную толстым бязевым кушаком, в лисью шапку - тымак, обут в большие теплые сапоги - саптама, как будто собрался весь день сидеть на морозе. Приходилось подчиняться воле матери Нурым-аже, для которой Каныш оставался все тем же неразумным дитя, могущим, если не проследить, выбежать во двор, не приведи аллах, полуголым.

Каныш ходил и радовался всему. Радовался косому солнцу, неистово лившему сплошные потоки холодных лучей, которые, хотя и плохо грели, но зато ярко светили, веселя слепящими серебрянными блестками и звездным мерцанием однообразную снежную белизну степей. Радовался он двум борзым, крутившимся у ног, радовался старому волкодаву Альп-соку, который достойно стоял поодаль, обратив в Каныша глаза, говорившие, что он не какой-нибудь дрянной борзой и не станет выражать свою преданность и любовь назойливым маханием хвостом и готовностью облизать и обслюнявить, но он всегда, в случае повеления, готов выполнить, несмотря на годы, все в лучшем виде. Радовался он коровам, вышедшим из коровника, чтобы насладиться дневной жвачкой на солнце, выездным коням, весело пофыркивавшим на привязи. Радовался синим дымкам, выбивавшимся из недр снежных холмиков, в

которые превратились приземистые зимовки аула от снежных заносов. Особенно он радовался тому, что вот прибежал неизменный друг - ровесник Жумаш, проводивший с ним теперь все свое свободное время.

Вышел отец. Услышав смех сына, подтрунившего над добродушно ослабившимся Жумашем, потеплел в душе, поблагодарил аллаха за его благодеяния, и решил, что в сегодняшнюю пятницу Каныш мог бы пройти до кладбища предков, чтобы обратиться молитву признательности аруахам - духам их за заступничество и неусыпную заботу.

С пригорка, с зимовки Имантая-аксакала, как на ладони, видны зимние жилища братьев его Жамина и Зеина и других родственников, расположенные на том, восточном, пологом и низком берегу реки Ащису, а рядом рукой подать до родового кладбища. Они неторопливо, молча, с хрустом стуча сапогами, спустились по натопанной тропе к занесенному снегом руслу речки и вышли на тот берег прямо у кладбища.

Каныш продолжал радоваться. Он теперь радовался тому, что вот идет за большим, грузным, высоким, надежным отцом, которому его семьдесят с лишним лет прибавили лишь седины и медлительности, нисколько не убавив стати и твердости в походке, а небольшие карие глаза на усыпанном оспинками темном лице смотрели по-прежнему остро. Отец шагал нарочито медленно и Каныш, несмотря на плотную одежду, не вспотел и не почувствовал усталости. Когда аксакал присел у того места, где по его рассказам лежит дед Сатпай-хаджи, Каныш плотно подвернул под себя подол волчьей шубы, так, чтобы было удобнее и теплее сидеть, ибо знал, что молитва будет длинной и долгой. Потом перешли к братьям отца, к матери Каныша Алимe, и дальше к другим родным людям, нашедшим здесь покой. Читали молитвы вперемешку, то отец, то он, Каныш, читали: выбирая большие суры Корана, внятно, четко в ритме произнося слова из книги пророка. Аксакал не допускал здесь перед аруахами недостойной, суетной торопливости.

Уже вечерело, когда они, то и дело останавливаясь, стали подниматься к дому. Отец молчал, поглядывая на сына, что было как знал Каныш, признаком того, что аксакал хочет начать какое-то серьезный разговор и все подбирает момент. Уже были у входа во двор, когда отец остановился, снял с правой руки большую овчинную рукавицу, потерев пальцами усы и реденькую, рассыпанную по всему лицу бороду, снимая сольки и сказав:

- Уа, аллах, милостивый и всеблагой, ниспошли благодать рабам своим... - присел на толстое бревно, лежавшее у ворот. Присел и Каныш. Затем он посмотрел на сына и продолжал:

- Человек у аллаха выпрашивает детей. Для чего? Для того, чтобы продолжался его род, упоминалось его имя, чтобы потомки его, вот так, как мы с тобой сегодня, Габдул-Гани, читали молитвы за упокой его души. Аллах твоего отца, сын мой, не обидел: деги, есть внуки, есть кому вспомнить, есть кому прочитать молитву, если всевышний призовет раба своего в лоно свое. - Аксакал удовлетворенно вздохнул и умолк. Каныш знал, что старик умолк ненадолго, что сейчас скажет что-то чересчур важное, ибо только в таких случаях вот так, изда- лека, подходил он к главному, густо обставляя это главное умными словами. - Так вот. Канышжан, когда ты тяжело заболел, я, грешный человек, усомнился в милостях аллаха и внутренне содрогался при мысли, что ты, мой мальчик, уйдешь из жизни, не оставив живого следа, что имя твое для тех, кто не видел тебя, будет пустым звуком. Но нескончаема божья благодать, ты выздоравливаешь. Тебе уже восемнадцать. Одиночество лишь одного аллаха украшало. Тебе пора, Канышжан, жениться. Старик снова умолк. Каныш тоже молчал, ибо аксакал терпеть не мог быстрых ответов, когда речь шла о серьезном и важном.

- Присмотрел я здесь, недалеко, одну девочку, отца ее, покойного, знал, хорошо знаю ее мать. Тебе она подходит. Недаром предки говорили: по посуде наедайся, по матери выбирай невесту. Снова сделал паузу и продолжал: Аллах свидетель, как я хотел, чтобы ты учился. Учился неплохо. Коран знаешь. Павлодарскую русскую школу кончил. Семипалатинскую большую русскую школу почти что кончил. Среди каржасцев, после Абиkey так долго никто не учился. Но вот говорят: дай, аллах, вместо горы помыслов, стремлений и труда хотя бы с мизинец везения. Если на роду написано везение, ты учился достаточно, постиг многого. Но ты слишком увлекся книгами и от этого тяжело заболел. Я теперь не хочу терять сына из-за книг. Габдул-Гани, тебе довольно учиться, оставайся здесь, в ауле.

Аксакал посмотрел на сына, но с места не поднимался. Это означало, что он намерен сказать что-то еще. И то, что он хочет сказать теперь, могло быть важнее высказанного до этого. Каныш волновался, но выдавать волнение, проявляя таким образом слабость, сыну Имантая никак не подобало. И он молчал, сделанным спокойствием выражая на лице слух и внимание.

Тяжелые, непонятные времена пошли, сын мой, аксакал говорил раздумчивый, чем прежде неторопливо, разборчиво подбирал слова, как будто доставал их по одному откуда-то изнутри, из глубины. - Царя свалили, пошли какие-то комитеты, комиссары, много властей, каждой подавай денег, лошадей .каждой изъявляй преданность, а война продолжается... Наши казахи затеяли свою власть, мы, мол, алашчы... Но на кого и на что опираются, с кем тягаться хотят... Посмотрели бы на себя... Правильно, очень правильно твой семинарский учитель говорил. Мы - темный, совсем темный народ. От этой темноты уставились мы в хвосты своих лошадей, кроме этих хвостов ничего не видим, и ворожим на этих хвостах... Такой мы несчастный народ...

- Старик тяжело, очень тяжело вздохнул. Я не верю тому, что говорил и что делает человек, которого ты почитательно называешь Алеке. И это неверие идет не от меня. От наших предков идет. Твой Алеке - это внук или правнук последнего хана Средней Орды Букея. Правда, ханом-то он был не очень настоящим. По слухам, царь рассердился на законного хана Валия, сына Аблая, пребывавшего в этом сане уже сорок лет, вот и решил престарелого Букея объявить тоже ханом. Ведь царь издевался над ними, как хотел. Вскоре оба старца преставились почти одновременно, на том ханство их кончилось. И тогда же вообще власть ханов упразднили. Тому, должно быть, век уже миновал. Твой Алеке, видать, гордится, что его предок, хоть и не долго, хоть и не настоящим, но все таки числится ханом, от того и громко «Букейхановым» нарекся. Всех тех, кто претендует на наследственную власть в степях, не перечсть. Это - торе, чингизиды, берущие начало от самого Чингиса. Их расплодилось множество, желание сохранить в чистоте белую кость привело их к кровосмешению, к вырождению, измелчанию, к умственному и духовному падению. Но что их отличает - это чванство, спесь и гнилое честолюбие. Говорят, что Алихан умный и ученый, но боюсь, что он не на благое дело увлекает таких, как ты, пылких птенцов, выпущенных в город, чтобы поучились у русских. А таких, как вы у нас совсем немного, и их всех ждет бесславие или гибель. И я трижды благодарен теперь аллаху, ниспославшему на тебя болезнь, чтобы спасти от позора. Ни один чингизид, кроме разве редких из них, не был настолько умным, чтобы утолять свое честолюбие, одновременно думая о благо народа. Поэтому мудрые руководители айдабульцев и каржасцев Шон и Шорман все усилия употребляли, чтобы быть подальше от

чингизидов, от их притязаний. И нам завещали. Шона ты знаешь, Султан-Махмуд, которым ты не нахвалишься - внучатый племянник его, а Шорман, ты его тоже знаешь, дядя моего друга Садуакаса, родоначальник наших соседей Шормановых. Надо быть подальше от торе, в том числе и от того, которого ты называешь Алеке. Абикей наш - легковёрный мальчик, по их газете вижу, мелькает его имя среди них и напрасно.

-Ата Бокеша, что вы сидите, Каныш продрогнет, идите домой, кушать пора, - сказала Нурым-аже, показываясь из-за ворот.

- Сейчас придем, - ответил аксакал и продолжал. Теперь вот и Керенского свалили, новая власть пришла. Говорят будто это власть бедных. Шорманские пастухи зашевелились, теперь мол сами будем править и иметь то, что имели баи. Боюсь, к концу света приближаемся. И не зря. Жалко только, что люди погибнут из-за алчности богатых. Ведь бедный, человек, что дитя, судьба которого поручена богатому. Обращайся с ним хорошо, одевай, корми, он на твое богатство зариться не станет, будет преданно и верно служить тебе в ответ на твою человечность. Нас к гибели ведет не богатство отдельных людей, а их алчность, такие обирают бедных и превращают их в нищих, еще и издеваются над ними, топчут честь. Не внемлют словам Пророка, завещавшего помогать ближним своим. Живем рядом с Шормановыми и вижу, как многочисленные отпрыски покойного бия настолько зазнались, что никого, кроме себя, не считают людьми. Не слушаются разумных наставлений мудрого Садуакаса, думают, что старик выживает из ума.

Он сделал паузу, и будто выдавливая из себя что-то затаенное и больное, обратился к аллаху:

- Уа, аллах, прости и благодетельствуй... Наш Бокеш тоже предан суетности. Боюсь за него. В нем неистребим червь зависти к Шормановым. Спит и видит себя волостным... Снова сделав паузу, аксакал продолжал:

- Как-то к Садуакасу приезжал Султан-Махмуд и рассказывал о каких-то будто бы очень умных людях, которые полагают, что к власти должны прийти когда-то бедные и они разделят и богатство и все блага всем поровну и что такая жизнь будет называться сотсиалом. Плохо верилось, мало ли чего может начитаться грамотный мальчик в русских книгах... Похоже, новая власть метит в этот самый сотсиал. А будет то, что аллаху угодно. В жизни же породистый жуйрик останется породистым и будет забирать все награды и почести, а бес-

породный жабы останется беспородным, но тоже нужным для дела. А перед аллахом все люди равны. Добро и зло он держит на весу. Когда люди, попирая добро, вложенное в сердце каждого создателем, - идут за сеятелем зла иблисом, аллах наказывает их самих избытком зла. И оттого получаютс ку-терьма, когда все, что в человеке от иблиса - шайтана распла-ется, сдерживающие узды рвутся, и тогда правый и обиженный творит несправедливостей и жестокостей больше, чем непра-вый и обижавший. Сколько мне, как бию, пришлось разби-рать на своем веку таких дел. Боюсь, что теперь чуть не весь мир идет к этому. Впору бы и остановить. Но это в воле лишь аллаха. Слава аллаху, иблис не овладел нашими помыслами и мы не подбрасывали от себя лучину в этот страшный огонь. Разумный человеку - не бабочка, лезть на огонь мало чести: если чудом не сгоришь, жди худшего - жить в мучениях от стыда и раскаяния. Большая часть - суметь переждать. Бог наградит раба своего за сдержанность. Аксакал поднялся. От-вета он не ждал. Он знал, что сын не так глуп, чтобы расстра-ивать отца легкостью суждений.

До чего бездумным и легкомысленным юношей стал тогда, после болезни Каныш. Он выслушал аксакала, проникаясь гор-достью, что имеет такого мудрого и прозорливого отца. Ему, привыкшему с почтением слушать отца и, покорно внимать его наставлениям, показалось, что впервые по -настоящему осознает и дивится тому, как этот почти не учившийся чело-век умеет так глубоко и логично толковать о разных сторонах жизни и так точно, убедительно выражать свою мысль. Это и взволновало и обрадовало его - сказанное аксакалом, не толь-ко не сбивало от радужного настроения, которое овладело им в эти дни выздоровления, а, наоборот, утверждало в нем это настроение, подводя под ощущение сладости бытия с ее без-заботностью и бездумностью такое простое и такое надежное оправдание. И, конечно, же, самое разумное, что он мог бы теперь делать - это, как и прежде, хорошо исполнять настав-ления родителя.

Учиться, например, теперь не обязательно, надо жениться. Потешались они с Жунусбеком, пробуя, как звучали бы фон-визинские диалоги на родном языке, и как выглядел бы Мит-рофан, не хотевший учиться, а захотевший жениться, в байс-кой юрте, теперь этим степным Митрофанушкой становился он, Каныш сам. И почему-то он от этого не чувствовал в себе никакой неуютности, а наоборот, предвкушал даже счастье, же-ланное счастье. Он не хотел больше той мимолетной, случай-

ной близости, в омут которой бросило его непосильно тревожное томление, неудержимо горячей лавиной накатившееся на него в прошлую весну и которая тогда, не оставив в душе ничего, кроме опустошения и досады, раздражения и беспокойства, лишь усилила состояние неравновесия и безотчетного брожения. И теперь, выздоравливая, чувствовал, что к нему возвращается это глупое состояние, боялся его, и полагал, что только женитьба может снять с души и тела груз постыдных волнений, заглушить которые никак не удавалось, и думалось ему при этом, что стеснительная, преданная его девочка-жена и будет тем берегом, где обитают безмятежное наслаждение и ни от кого не скрываемое счастье.

Евней Арыстанович Букетов родился 23 марта 1925 года в ауле Баганаты Октябрьского района Северо-Казахстанской области в семье крестьянина-скотовода. Семи лет пошел в школу, которая оказалась для него не просто учебным заведением, а целым миром открытий и откровений. В девятом классе ввиду болезни отца он вынужден был стать кормильцем большой семьи, и здесь впервые он проявил свои знания и педагогические способности, потому что уже в 16 мог учительствовать в различных селах и аулах. После смерти отца в 1942 году все бремя забот легло на его плечи, и он продолжал работать учителем до окончания войны. С наступлением мирной жизни тяга к знаниям вновь усилилась, и теперь уже 20-летний юноша успешно сдает экстерном экзамены за десятый класс и после этого поступает в Казахский горно-металлургический институт. По окончании его остается в очной аспирантуре и через три года защищает кандидатскую диссертацию.

Стремительна и предельно насыщена дальнейшая жизнь Евнея Арыстановича. За пять лет он вырастает от ассистента, доцента до заместителя директора по учебной работе, а через два года направляется в качестве директора Химико-металлургического института Академии наук Казахской ССР в Караганду.

С его приездом в 1960 году институт быстро превратился из разрозненной научной ячейки численностью в 180 сотрудников в сильную в научном отношении и эффективную по отдаче производству организацию с коллективом около 500 человек. Был построен современный специализированный корпус химических и металлургических лабораторий, ставший в последствии основой двух академических институтов. Первое авторское свидетельство, первый зарубежный патент, первое внедрение в производство, первая научная монография, первая кандидатская и первая докторская диссертация - все связано с именем Евнея Арыстановича Букетова. В 1967 году он защищает докторскую диссертацию и удостоивается звания

профессора, в 1969 году ему присуждается Государственная премия СССР, в 70 избирается членом корреспондентом Академии наук Казахской ССР. Через два года он назначается ректором вновь организованного Карагандинского Государственного университета - второго в Республике, в котором он с присущей ему энергией занимается постановкой и разрешением научной работы и учебного процесса, развитием материальной базы. В 1975 году Евней Арыстанович избирается академиком Академии наук Казахской ССР, а в 1976 году награждается Орденом Трудового Красного знамени.

Последние годы, работая в Химико-металлургическом институте, он всецело отдается развитию нового научного направления, предложенного им как синтез металлургии, углехимии на основе обширных знаний в каждой из этих областей.

Евней Арыстанович был взыскательным к литературному стилю научных работ, был прекрасным собеседником и оратором, бережно относился к русскому и казахскому языкам, культуре двух близких народов. Он плодотворно работал в русской и казахской прозе. Был переводчиком на казахский язык выдающихся поэтических и драматургических произведений советской и мировой классики. В 1971 году принят в Союз писателей СССР.

Евней Арыстановича отличали не только ширина и глубина знаний, твердый характер организатора науки, но прежде всего дар доверительного, товарищеского общения - с рабочими, студентами, лаборантами, учеными, руководителями производства, которых он неизменно увлекал своими идеями и делом, за которое отвечал всей своей жизнью...

Мой тесть ЕЛЕУОВ Мухамеджан 1909 года рождения, уроженец аула № 10 Адамовского района Оренбургской области, был арестован Ново-Черкасским отделом НКВД. Решением тройки УНКВД 14 февраля 1938 года осужден к высшей мере наказания - расстрелу.

После случившегося его жена Рахима 1913 года рождения со своей двухлетней дочерью Бикен уезжает к своим родителям, проживающим под Каркаралинском. Уничтожает все документы на ЕЛЕУОВА и записывает дочь на имя деда.

До 1996 года мы ничего не знали об ее отце, мать никаких сведений не дала, кроме его фамилии и имени. Еще сказала со слов мужа, что у него есть младший брат Кульмагамбет. Искать отца Бикену мать категорически запретила, опасаясь привлечения к ответственности как семью «врага народа».

Тесть ЕЛЕУОВ Мухамеджан 17 ноября 1988 года реабилитирован посмертно за отсутствие в его действиях состава преступления.

Мы начали искать его родственников, и наши труды увенчались успехом. Розыскали его племянников, т.е. детей упомянутого брата Кульмагамбета, проживающих в настоящее время в с. Астраханке, центре бывшего Ново-Черкасского, а ныне Астраханского района. А Кульмагамбет умер в 1989 году, узнав перед смертью о реабилитации Мухамеджана. Он всю жизнь искал свою племянницу Бикен, но не нашел.

Все десять детей Кульмагамбета живы и при деле. Старший Жуман - подполковник в отставке, долгие годы возглавлял райотделы милиции, сегодня занимается малым бизнесом. Его сын Канат в настоящее время возглавляет одну зерновую компанию, благодаря его посильной, моральной и материальной помощи издана эта книга.

Недавно у него родился сын и в честь памяти своего деда дал ему фамилию ЕЛЕУ и назвал Абзал.

Теперь наши семьи БУКЕТОВЫХ и ЕЛЕУОВЫХ нашли друг друга и отношения между нами будут крепнуть, в этом мы уверены.

Камзабай БУКЕТОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вместо предисловия.
Глубокоуважаемая шешей Таисия Алексеевна.
2. Глава первая.
В орбите кочевков.
3. Глава вторая.
От муллы к учителю.
4. Об авторе.

Евней Букетов
Детские годы Каныша
документальная повесть

Заказ № 1093. Тираж 400. Объем 12,25 п.л.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Отпечатано в ТОО "Арко"
г. Караганда, ул. Ленина 2.